

P2-3

А



ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ

ОН

УПАЛ

НА

ТРАВУ...

M1131965



P2-3
Д721

ВИКТОР

ДРАГУНСКИЙ

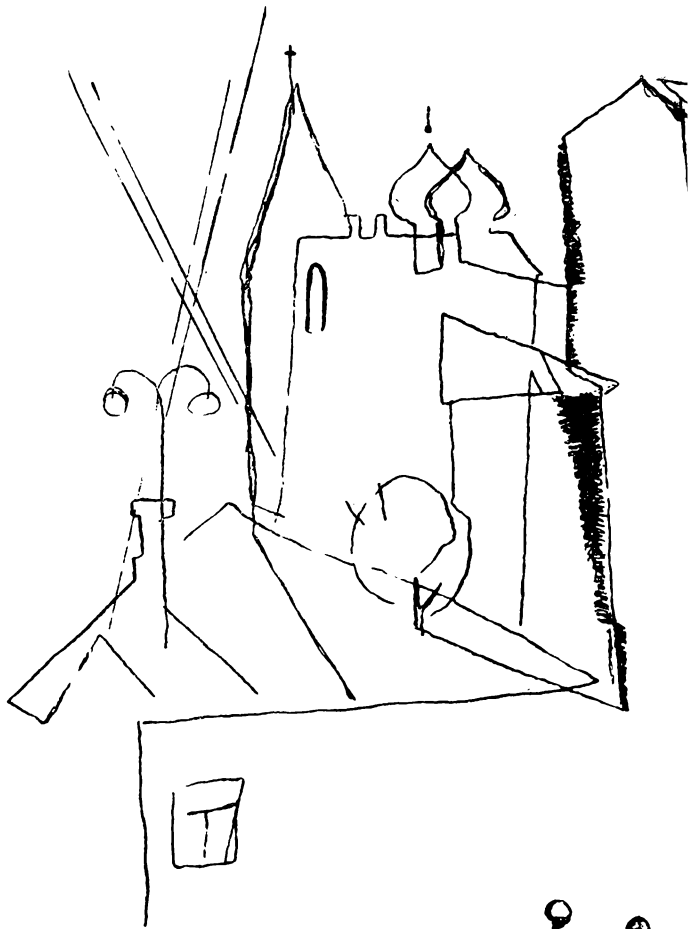
ПОВЕСТЬ

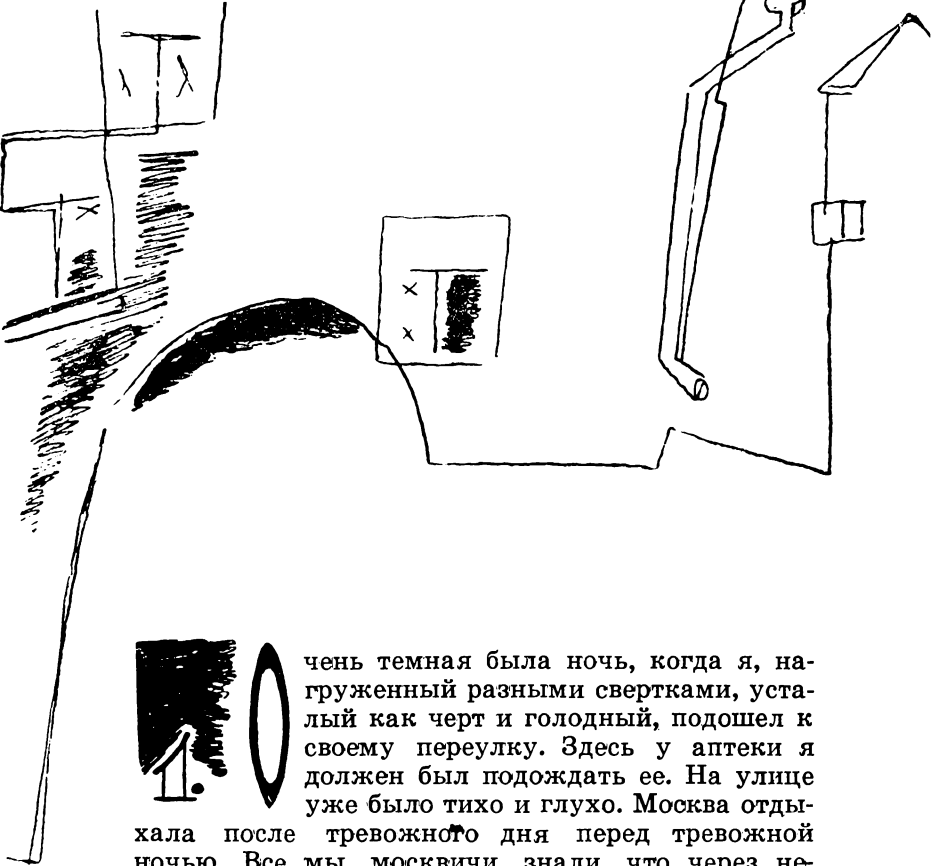
С

Виктор
Драгунский
**ОН УПАЛ
НА ТРАВУ...**

П О В Е С Т Ь

Советский писатель  Москва 1963





чень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь у аптеки я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши,

будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально переkreщивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, и — как там дальше? — ах да, грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать «Огонь!», и после каждого залпа он будет звонко материться, и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрестке, в полной темноте, и видно, никогда не забыть мне часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города и от нее уйду и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятисот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и
4 Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она должна была отсутствовать. Это поразило меня. Она, зна-

чит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она все и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься...

Я сказал:

— Это я, что ж ты не идешь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

— Понимаешь, Зойка, — сказала она, — ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

— Какая к черту Зойка? — Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал: — Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась:

— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

— Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несешь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень вятно:

— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.

Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то стоящего там, в темноте.

— Ох, — сказал кто-то, — чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.

Я сказал:

— Извините, — и хотел было уйти.

Но она сказала:

— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

— Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие, и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка. Она сказала:

6 — Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

Я сказал:

— Нет.

— Да мы же рядом живем, — сказала девушка, — вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети... А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас все рассказала.

Ну и ну, все ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?

— Так что я все про вас знаю, Митя Королев. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку. — Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там наверху.

Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем — противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели новой бумагой как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

— Значит, никто не придет проводить вас и проститься?

Я сказал:

— Это не ваше дело.

Она вздохнула:

— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась:

— Это, наверно, горько и обидно: звонить куда-то и узнать, что тебя не придут проводить и проститься?

Я сказал:

— Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

— Может, мне отстать от вас?

Я сказал:

— Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

— Это не дело, прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.

Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:

— Вот я здесь живу.

Я сказал:

— Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку:

— Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

8

Я сказал:

— Ну вот. Пока.

Но она сказала :

— Можно я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девочка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки; я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла с себя плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осматривалась. Особенно ее заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала :

— Хотите есть?

— Нет, — сказал я.

— Надо поесть, — сказала она и показала на свертки: — Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь — совсем ведь рядом.

Я сказал :

— Действуйте как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, на лбу у нее появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и все это получалось у нее очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец — все это было очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную сестренку с серьезным личиком. Я бы уж смог сделать так, чтобы моя сестренка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы. Я сидел у окна, больная моя нога привычно ныла, и, хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Валею, я все-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и все поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, — ужинаю с дамой и не веду оживленную светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чем не была виновата.

Поэтому я сказал:

— Давайте выпьем!

— Ну что ж...

Я налил из плоской бутылочки ей и себе.

— В общем, — и она подняла рюмку, — в общем, я пью за то, чтоб вы были счастливы.

Я сказал:

— Спасибо.

10.

И увидел, что она никак не может решиться выпить.

— А вы в общем-то пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла ее сверху ладошкой:

— Честно?

— Да.

— Это в первый раз.

Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятой девушки. Я сказал:

— Если в первый раз — лучше не пейте, не надо. Обожжет горло, захватит дыханье, слезы побегут.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе еще.

— Ну хорошо, — сказала она, — я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

— Нет, — сказал я, — неинтересно. Мама в Туле, тетя здесь. Чего же еще?

— Ну, а как меня зовут? Тоже неинтересно?

— Абсолютно, — сказал я. — Ну, так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте ее сюда, я сам ее выпью...

— Нет, — сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, — нельзя! А то вы узнаете все мои мысли...

— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у нее шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.

— Слушайте, — сказал я, — только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне наконец, как вас зовут.

Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.

— Меня зовут Лина...

Я сказал:

— Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.

— Тяпнем! — сказала она.

Я налил себе и кивнул ей.

Она довольно мужественно глотнула и стала закусывать с таким обыкновенным видом, как будто делала это на дню три раза. У нее такая была напряженная мордочка, и вся она такая была забавная и трогательная — ну сестренка, просто сестренка моя, которой нет.

Я сказал:

— Вы домой шли, Лина? Вас, наверно, ждут?

Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка белого грибка.

— А... была не была!

— Отчаянная, да? — сказал я. — Сорвиголова?

— Оторви да брось, — сказала она и засмеялась, и было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один, крепких как орешки.

Я налил ей еще совсем немножко, чуть покрыв доньшко. Вот уж не стал бы спаивать такую славную девочку, она была просто прелесть и такая забавная, сказать нельзя.

— Вот, — сказал я, — спивайтесь, заблудшая душа.

И тут она меня удивила. Она скинула туфельки, вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку:

— Я пью за самое большое в нашей жизни, — сказала Лина, и ее милое юное лицо стало торжественным и важным.

Она трезво и строго посмотрела на меня:

— Я пью за Победу.

Она это так тихо и значительно сказала, что у меня сжалось сердце. Я выпил свою рюмку, и Лина выпила тоже. Она все еще стояла на стуле и смотрела на меня трезво и сурово. Я подошел к ней, взял ее за талию и опустил на пол. Она все смотрела мне в глаза без улыбки. Я крепко прижал ее к себе и поцеловал. Никогда не забуду прохладное прикосновение ее губ. Как будто миготом меня отбросило назад в детство, и я пробежал по июньскому росному лугу босиком, и где-то за зеленым лесом в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в своих руках и слышал, как бьется ее сердце, и вдыхал запах ее волос, ее платья, всего ее милого девичьего существа. Я долго так стоял, очень долго, целую вечность, и кровь гудела во мне, шумела и билась. А Лина все глядела на меня, потом словно устала и закрыла глаза. В это время завывла сирена. Я разжал руки. Лина заметалась по комнате.

— Тревога, — шептала она, — боже мой, опять тревога! Что же делать?

Она была бледная, и губы у нее дрожали, у бедняжки, — так испугалась. И все это росистое утро на июньском лугу, что сейчас цвело в этой

комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощенное страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.

Ее недопитая рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе ясно блестели небрежно насыпанные звезды. Лина сказала:

— Я тетю возьму. Отведу в метро, она больная.

Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали ее туфельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.



я помчался по черной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал еще несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были словно замшевые, эти балки, добрые и теплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда еще в те баснословные года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был

знаком мне и дружелюбен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.

На крыше уже сидел дядя Гриша, дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке, мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, — он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую, тощенькую фигурку дяди Гриши, замавленную его кепочку с умильной пуговкой и хитроватые круглые сорочки глаза, настороженно поблескивающие в темноте. Он поднял короткий твердый палец, ткнул им в небо и сказал:

— Подходит...

Я уже давно слышал этот накатный злой звук и тоже уставился в небо. Проекторы наши металась по небу, толкались, на мой взгляд, без всякого смысла и всячески суетились. Бомбежка еще не начиналась, зенитки молчали, и в этой погоне прожекторов за невидимым зудящим звуком, за этой личинкой смерти, которая его издавала, было что-то в высшей степени странное, лихорадочное. Так протянулись несколько томительных минут, и вдруг далеко на горизонте, как мне показалось — где-то за Самотекой, а то и за Марьиной Рощей, прожекторы вдруг сбежались к одной точке на ночном небе, скрестились, образовав в

центре своего соприкосновения как бы маленький молочноголубой экран, и все вместе плавно потянули этот экран направо. Мгновенно грянули зенитки. Это было в самом деле как музыка, как весенний радостный гром, и я услышал, как рядом со мной засмеялся дядя Гриша.

— Схватили, — сказал он и всхлипнул, — повели!

Я ничего не мог разглядеть, волнение ослепило меня. Но дядя Гриша точно уставил свой маленький твердый палец куда-то вверх, крепко стиснул мое плечо, не отпускал его и все приговаривал:

— Вот он, фриц, вот он, — гляди же, раззява!

Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пятно, тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне сжало сердце! И хотя чуда редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя пал на крыло, неожиданно круто дернулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и оставляя за собой черный коптящий след. Прожекторы провожали его за небосклон до земного предела, зенитки умолкли, и суровая тишина, сладчайшая тишина первого отмщения повисла над московскими крышами. Я закрыл лицо руками. Дядя Гриша вынул из кармана краюшку хлеба и разломил ее пополам.

16

— На, — сказал дядя Гриша, — покушай хлебца.

Я взял хлеб и стал его жевать. Да будь оно проклято, вот когда я понял свое несчастье! Хромой. Хромуля. Хромоног. На призывной комиссии, когда пришел мой год, меня даже не стали осматривать. Они сидели все рядом, все в белом, важные и властные, и, когда увидели меня, сразу согласно зачиркали карандашами. Один из них сказал:

— Негоден.

И все неторопливо покивали головами.

Я тогда пошел домой не слишком огорченный. Я не думал, что будет война. Я не знал, что эта проклятая нога не даст мне делать самое нужное дело — бить врага. Я тогда увлекся живописью и решил стать художником. Я прочитал, наверно, тыщи полторы книг и целыми днями ходил по музеям. Осваивал наследство. А потом высокий худой человек завербовал меня в театр. Он привел меня за кулисы, дал мне краски, кисти и научил варить клейстер и кроить полотна, и театр покорила меня, поглотив меня всего, околдовал и поработил. Я ничего не видел тогда на свете, кроме кулис и декораций. Я полюбил запах клейстера и холста, волшебный запах грима, сухой запах париков и терпкий запах дешевого одеколона. Я знал и любил запах сырых афиш и горячий запах раскаленных ламп. Театр ухватил меня крепко, и ничто, кроме писанных задников, картонных замков, фанерных Бастилий, слюдяных речек и электрических звезд, не интересовало меня. Там, в театре, я и увидел эту удивительную женщину. У нее были прекрасные тонкие руки,

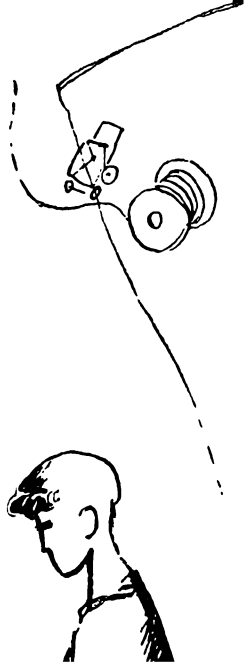
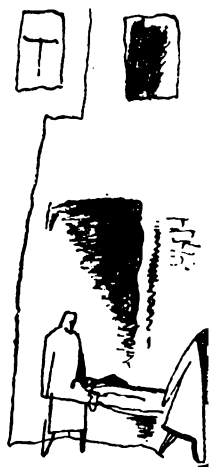
17

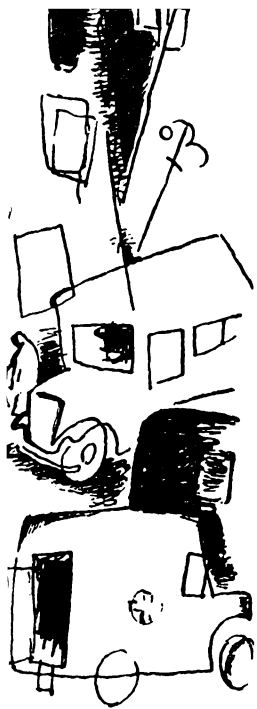
и она не посмотрела, что я хромой. Нет, она не посмотрела, не сказала «негоден». И когда я сказал ей вчера, что ухожу в ополчение, она упала головой на гримировальный столик и заплакала. Она здорово плакала, — я поверил. И как она спокойно предала меня сегодня. Как это у нее просто получилось. Обещала прийти и не пришла, только и всего. Мило и грациозно...

— ...Второй заходит, — сказал дядя Гриша.

В небе опять плясали прожекторы. Били зенитки. Рычал, словно собираясь залаять, немецкий мотор.

И вдруг в воздухе что-то завывало, засвистело с ужасающим нарастанием. Воздух как бы заколебался, разорвался, меня вдруг бросило и втиснуло в крышу и потянуло с силой вниз, я распластался, заскользил и зацарапал ногтями, пытаюсь вцепиться в уходящую жизнь, но смерч все неся надо мной, и меня тянуло за ним, увлекало все дальше и дальше к краю крыши семиэтажного дома. Носки моих ног уперлись в водосточный желоб, воздух давил меня в затылок, пихал, чтобы проломить мною эту ничтожную жестянку, а я упирался ногами и кри-





чал, и огромный взрыв заглушил мои крики. Дом задрожал весь как в ознобе, и во внезапно наступившей тишине я услышал мелодические, робкие звуки разбивающегося стекла.

— В шестьдесят восьмой угодило, — сказал дядя Гриша, высовываясь из-за люка, — разбомбило, видать. На палку-то, держись, ай встать не можешь?

Он протянул мне сверху багор, я взялся за него мягкими, бескостными руками и полежал так несколько секунд, набираясь жизни от дяди Гриши. Это было как переливание крови. Потом я сжал пальцы посильнее и сказал:

— Подтяни чуть-чуть!

И дядя Гриша вытащил меня.

— Мог слететь, — сказал он, — и очень просто.

Мы опять сидели с ним рядом. Уже светлело, и мы смотрели на огромный столб пыли и дыма, подымавшийся совсем недалеко от нас.

— Везуче мы с тобой, — весело сказал дядя Гриша, — ей-богу, везучие. Ведь эта фугаска полтонны, а то и тонна, не меньше, били небось по нас, да промазали.

Я сказал:

— Я пойду туда.

Но дядя Гриша не пустил меня.

— Мы на посту, парень, — сказал он, — дай дождаться отбоя. Еще не вечер.

Но все-таки это был конец. Наступил рассвет. Побелевшие лучи прожекторов словно истаяли в огромном небе и исчезли один за другим. Снизу послышался звон колоколов пожарной команды. Долетели какие-то крики, — видимо, начинались спасательные работы.

Было трудно сидеть здесь и ничего не делать, но приходилось терпеть.

Так прошло еще с полчаса. Когда диктор наконец объявил отбой, я спустился вниз и побежал к разбомбленному дому. Он был оцеплен, пожарники и милиционеры никого не пускали. Их одутловатый начальник распоряжался работами. Сбежавшиеся со всех концов Москвы машины скорой помощи стояли с открытыми дверями и включенными моторами. Отдельно стоял большой черный фургон. Под ногами хрустело битое стекло. Утренний ветер перегонял с места на место обрывки газет и легкие ватные хлопья. Горький запах пепелища, запах несчастья и сиротства пронзал душу. Два высоких санитаров пронесли мимо меня носилки. На носилках лежала Лина. Она была голубая. На левой Лениной ноге не было туфельки. Санитары несли Лину бегом, неосторожно, не боясь причинить ей боль. Они вошли в большой черный фургон вместе с Линой и почти мгновенно вернулись, уже без нее. Фургон никуда не уехал.

Я повернулся и пошел домой.



вошел в маленькую, обитую темной жестью дверь одной из комнат в подвале нашего театра. Было девять часов утра, и кладовщик Борис Филиппыч сидел уже на своем месте. Он не оглянулся, когда я вошел, он барабанил пальцами по аккуратно прибранному столу. Набарабанившись, старик неприязненно глянул на меня из-под нависших лысых надбровий и протянул мне новенький, приятно пахнущий грецкими орехами защитного цвета ватник:

— Прикинь.

Я надел ватник прямо на пиджак. Но, надетый на пиджак, он был мне все равно широковат. Борис Филиппыч посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. Потом он пошарил под столом и вытащил оттуда пару новых яловых сапог. Он кинул их мне под ноги. Сапоги упали, тяжелые как утюги.

— Примерь, — сказал Борис Филиппыч.

Я разулся. Сапоги тоже оказались немного великоваты, но я не обратил на это внимания и надел их прямо на носки. Свои ботинки я оставил у Бориса Филиппыча, он взял их не глядя, кинул на стол и протянул мне какую-то серую разграфленную бумагу — это была, по-видимому, ведомость. Старик ткнул в нее пальцем:

— Распишись.

Он посмотрел на меня и побарабанил пальцем по столу.

Потом сказал:

— Ну, будь.

Сапоги стучали и плохо сгибались при ходьбе. Они касались острыми краями голенищ моих подколенок. Они стучали очень красиво, так, наверно, стучат голландские сабо. Добротные были сапоги, громоздкие как рояли.

Волоча их по пустынному фойе театра, я прошел на сцену. Было очень рано. Сцена была обставлена вчера ночью, рабочие еще не появлялись. Артисты приходят позже рабочих, но все равно я не хотел никого дожидаться, потому что не мог себе представить, как я буду себя держать, если придет Валя. Слишком это было бы трудно. Я вышел на улицу и постоял у рекламных щитов, в холодке. Валя смеялась мне с этих щитов щедрой солнечной улыбкой. Она была здесь в разных видах, дирекция делала на нее ставку, — молодая звезда. Солнце стояло над городом, оно лило свою благодать на пустынную площадь, оно припекало во всю ивановскую, и меня совсем разморило в моей ватной кольчуге. Мне стало жарко и не захотелось по жаре стучать в тяжелых сапогах до дома, чтобы собирать вещевого мешок, но там на столе стояла недопитая Линой рюмка и одиноко торчал в стене гвоздик, на который она вешала плащ.

Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссер. Он подошел ко мне, ухватил меня своей мясистой рукой за локоть и сказал, ежеминутно поправляя роговые очки:

22

— Вот чертова жара. Пошли в Эрмитаж, а? Там певец какой-то приехал из-за границы. Прослушивание идет.

Федька хрипло засмеялся, закашлялся, засипел, глазки его стали серьезными, он поправил очки и невесело добавил:

— Фриц прет как скаженный, а нам понадобились интимные песенки. Пошли — полюбуемся?

Я сказал:

— Не хочется.

Федька близоруко сощурился и спросил:

— Ты чего это в ватник нарядился, как Чайльд Гарольд? И при сапогах?

— Я в пять часов уезжаю.

— Куда?

— В ополчение.

— Так, — сказал Федька.

Он постоял, помаргивая и томясь и растерянно переступая с ноги на ногу. Потом он решительно шагнул ко мне.

— Слушай, — сказал Федька, — у меня вопросик: а не наплевать ли нам на интимные песенки? Пошли погуляем, пока тихо.

У меня словно камень с души свалился. Я сказал:

— Ну что ж, пошли...

И я пошел с Федькой, с этим тюленем, с этим близоруким бегемотом. Я шел с ним рядом, скинув ватник, стуча сапогами, и радостно было мне, потому что человеку нужен друг, и на войну его должен провожать друг, а без друга человек не человек.

Мы пошли с ним вниз по Тверской, вышли на Красную площадь, постояли перед храмом Василия Блаженного. Мы всегда им восторгались. По-

том мы перешли через мост, походили по Болоту, и — снова под мост, на набережную. Москва-река дышала в наши лица, остужая их, и Кремль глядел на нас своими несказанными куполами, и зеленой травы на спуске у Большого дворца было так много и такого она была изумрудного яркого цвета, что действовала просто как болеутоляющее. Мы перешли еще один мост и пошли Александровским садом обратно к Тверской. Москва была красива и широка, и нам, коренным москвичам, все еще трудно было привыкнуть к новым ее масштабам и к новым огромным домам, выросшим так недавно. Мягкий асфальт таял под ногами, и мои сапоги уже давали себя знать неприятной болью где-то над пятками. Мы шли вверх по Тверской и прошли уже телеграф и Моссовет. Мы больше помалкивали, но, когда дошли до елисеевского магазина и прошли его, Федька вдруг сказал:

— А может быть, выпьем?

— После, — ответил я, — ближе к отъезду.

— Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят, — сказал Федька. — Никогда не откладывай такие дела. Увидимся ли...

Мы вошли с ним в ресторан, где директором был знаменитый Борода, седой, красивый, веселый человек. В этом ресторане питались почти все артисты Москвы да и вообще театральный народ. Я был здесь несколько раз с Федькой, бывал и с Вале́й.

В дверях нас встретил бритоголовый, с красным склеротическим лицом официант Лебедев.

Он сразу признал меня и показал глазами на свой столик. Этот старик служил здесь испокон веку, всю свою жизнь, и мне было приятно, что вот он, видите ли, узнал меня. Мы сели за столик, Федька хрюкнул и поправил очки.

— Дайте нам водки, — сказал он деловито.

— В такую-то жару? — усомнился Лебедев. — Может, пивка?

— Не надо нас воспитывать, — отрезал Федька. — Мы уже большие. Мы уже ополченцы. Сегодня уходим. Последний нонешний денечек. Видите, мы в ватнике! Когда еще достанется? Потом будешь вспоминать — слезами обольешься. Да и увидимся ли...

Мы выпили, поговорили с Федькой о театральных делах, и Федька налил по второй.

— Не стоит, — сказал я.

— После слезами обольешься, — строго сказал Федька, — надо выпить, куме, тут, на том свете не дадут!

Мы выпили еще.

— Не удовлетворяют меня театральные формы, — объявил Федька, — обветшали! Честное слово! Все стригутся под Станиславского. А надо, брат, работать! Понял? Надо искать! Где? В формах, вот где. Формализм — великая вещь, если им правильно пользоваться. Да-да. Давай, слушай, пей, не задерживай.

— Не охота, тебе говорят, — сказал я.

— Если ты уверен, что мы увидимся с тобой, 25
друзе, — сказал Федька, — тогда не надо...
А если не уверен...

Мы выпили. Федька откинулся на спинку стула.

— Ты бы хоть рассказал, что такое твой формализм? Как ты его понимаешь? — спросил я.

Федька копался в своей тарелке, придирчиво рассматривая каждую капустинку сквозь очки.

— Формализм, брат, я понимаю, как формальное отношение к форме и формалистам!

Он захохотал и стал устанавливать тарелку на горлышко графина.

— Я, — сказал он надменно, — ищу новые формы! Довольно бриться под МХАТ! Что когда-то было прогрессивным, может сегодня оказаться глубоко реакционным. Ты об этом думал?

Он взялся за графин:

— Вот мы сейчас выпьем за то, чтобы нам увидаться! За чудную нашу землю минус фашизм! Давай!

Тарелка, конечно, вырвалась все-таки из его толстых пальцев, упала и разбилась.

Лебедев стал собирать осколки.

— Это к счастью, — сказал Федька и полез под стол помогать Лебедеву.

Я наклонился к нему и тоже помогал.

— Значит, ты, Митька, вернешься в полном порядке, — сказал Федька под столом и вылез оттуда, пыхтя и отдуваясь, — это к счастью, уверяю вас. Лебедев, голубчик, принесите нам еще водки.

— Дудки, — сказал Лебедев, — вы ужé.

26 — Что — ужé? — удивился Федька. — Лебедев, поймите, мы провожаем его в ополчение. Ведь он у нас ребенок. Он, может быть, там заболает

или что-нибудь еще. Ведь его же жалко? Лебедев, у вас есть дети?

— Две персоны, — сказал Лебедев.

— Девочки?

— Мальчики.

— Большие?

— Одному сорок два, другому тридцать восемь.

— Вот видите, — сказал Федька, — принесите выпить.

— Все, — твердо сказал Лебедев, — разрешите получить. После благодарить будете.

Я сказал:

— Пошли, Федька, собираться надо.

Я заплатил Лебедеву деньги и дал ему пять рублей на чай.

Когда я встал, Лебедев тронул меня за плечо.

— Увидимся, — сказал он, — крепко надеюсь!



ы с Федькой пошли ко мне. Дома у меня все было по-прежнему неприбрано. Личина недопитая рюмка стояла на столе, и гвоздик, на котором висел вчера ее плащ, торчал на своем месте.

— Плохо у тебя, — сказал Федька. — Это чья рюмка?

— Не тронь, — сказал я.

Федька отдернул руку.

— Дамы? — сказал он. — Красотки кабаре?

— Она уже умерла, — сказал я.

Федька посмотрел на меня странно увеличившимися глазами.

— Я пьяный, да? — спросил он. — Ничего не понимаю.

— Сегодня разбомбило дом, в котором она жила, — сказал я. — Я видел, как выносили ее тело.

Федька отошел от стола.

— Хорошая? — сказал он. — Красивая?

— Ты не про то, — сказал я.

— Любил. Крепко?

— Совсем не любил, — сказал я.

— Пьяный я, совсем разобрало, — сказал Федька. — Жалко как мне тебя, и эту девушку жалко, всех так жалко, хоть помирвай.

Он скрипнул зубами и лег на постель.

А я быстро стал собираться. Положил в мешок полотенце, рубаху, чашку, носки, булку, остатки вчерашней колбасы, ножик, галстук, и сахар, и карандаш. Подпершись локтем, Федька лежал на боку и смотрел на меня молча и сочувственно.

— Ну, а она? — сказал он.

— Кто? — сказал я.

— Сам знаешь.

Я промолчал.

— Тяжелый ты человек, — пробормотал Федька, уминая под себя подушку. — Потому, что хромой. Ты думаешь, ты гордый, а ты просто тяжелый. — Он укоризненно покачал головой. — Может быть, что-нибудь передать на словах? — крикнул он. — Не молчи!

Но я все-таки промолчал. Федька сел на кровать и стал причесывать прямые волосы толстой пятерней.

— Вот что, — сказал он неожиданно, — я решил: я с тобой поеду. Нельзя тебя одного отпустить. Слышишь? Я еду с тобой!

Это он говорил совершенно серьезно, даю голову на отсечение.

— Не смейся народ, Федька, — сказал я.

Он погрозил мне кулаком и снова улегся на спину. Кровать прогибалась под ним, он покряхтывал, глядя в потолок, а я встал у крана, разделся до пояса, умылся холодной водой и потом долго стоял не вытираясь, от этого было еще прохладней и благодней. Опьянение слабело во мне, выходило через поры освеженного тела, выдыхалось постепенно, и от этого на душе становилось все лучше и лучше.

Потом я прибрал на столе, вылил старку из Лениной рюмочки в раковину, подобрал с полу обрывки бумаги, взял мешок, надел и встряхнулся, чтобы он улегся на спине посноровистей, и сказал:

— Пошли, Федька. Пора.

Он вскочил с кровати и тоже побежал к крану. Я оправил за ним кровать. Федька кончил мыться. Он сказал:

— Пошли.

Мы вышли в мой маленький коридор. Я запер дверь комнаты и положил ключ в почтовый ящик. 29

Федька спросил:

— Это зачем?

Я сказал:

— Для ребят. Мало ли кто зайдет, Андрюшка или Санька Гинзбург, у меня так всю жизнь.

— А может, сдать в домоуправление?

— У них есть запасной. Да они и про этот прекрасно знают.

— Ну что ж...

— Да, — сказал я, — пора. Пошли Федька.

Мы пошли со двора. Солнце уже не палило так нещадно, хмель улетучился из головы, и идти по теневой стороне было приятно.

— Далеко нам? — спросил Федька.

— Пять минут ходу, — сказал я.

Мы уже подходили к углу, когда кто-то окликнул нас. Это был наш актер Зубкин. Маленький, надутый, с большим лягушачьим ртом, этот деятель давно действовал мне на нервы. Ставка на карьере во что бы то ни стало, при сером характере дарования, неукротимый подхалимаж и хамелеонская способность ежеминутно перестраиваться отталкивали меня от него. Он кричал на уборщиц и гнул спину перед первачами.

Зубкин шел за нами, через плечо у него была перекинута солдатская скатка — ярко-голубое детское одеяльце. В руках Зубкин держал большую хозяйственную сумку.

— Далеко собрались? — молодецовато спросил он.

30 — Недалеко, — сказал я.

— Он уходит в ополчение, — объяснил Федька. — Сегодня. Сейчас.

— А ты, значит, его провожаешь?

— Да.

— Ну что ж, — сказал Зубкин, — все правильно. Ты, Королев, ведь сам просился?

— Сам, — сказал я.

— Значит, исполнилась твоя мечта!

Можно было подумать, что он мне завидует, что у него была такая же мечта. Но она не исполнилась.

Мы подходили к залу Чайковского. Там стояла длинная очередь стариков, детей и женщин. Они ждали открытия метро. С четырех часов метро открывалось как бомбоубежище. Зубкин замедлил шаг и пристроился к печальному этому хвосту...

— Ну, бывай, — сказал он браво, — желаю успеха в борьбе с озверелым фашизмом.

Он протянул мне руку, я не взял ее. Зубкин покраснел. Мы пошли дальше.

— Подожди, — сказал Федька.

Я остановился. Федька вернулся к Зубкину. Он тронул рукой свои очки и, оставив толстый палец Зубкину в грудь, громко сказал:

— Зубкин! Ты сволочь!

Мы пошли дальше.

— Он тебя съест, — сказал я Федьке.

— Подавится, — ответил он. — Не мог я себе отказать в этом. Если бы я сдержался, я бы сам был сволочь.

— Не кипятись, — сказал я.

Мы пошли еще веселей, снова мимо нашего театра, и я еще раз увидел, как смеется на афи-

ше Валя. Скоро мы пришли в большую школу-новостройку, стоящую в маленьком мохнатом от зелени дворе.

Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своем пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно. Все эти пожилые, толстые и седые люди были окружены женами и детьми. Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приемных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию нужно, это неизбежно, тут ничего не поделаешь и все это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А все-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовые отданы, судно отваливает от дебаркадера и на берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того как пароход выходит на середину реки, струна, связывающая тебя с берегом, натягивается все туже, становится все тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени и пронзительней делается боль.

Я пошел в глубь двора, где стояли столики с цифрами и буквами, я разыскал свою литературу, от-

метился и спросил у человека в железных очках, что мне делать дальше. Он сказал:

— Ступай, Королев, за дом. Там котелки выдают, получи себе. Ты теперь под моим началом будешь, я твой командир. Бурин Семен Семенович. Жди во дворе команды.

И он улыбнулся мне, но тут же насупился. Видно, считал, что командиру не к лицу улыбаться.

Я пошел за Федькой, потом мы вместе пошли за котелком, и Федька ни с того ни с сего взял котелок и себе. Он совсем отрезвел, был угрюмый и все время поправлял очки. Мы стояли во дворе и ни о чем уже больше не говорили, а я все думал, что во дворе много, очень много женщин и как же это Валя сидит сейчас дома, или репетирует, или слушает интимные песенки, когда я стою тут в сапогах, у меня уже натерты ноги и котелок в руке, и скоро-скоро поезд грянет, и прости-прощай, прощевай пока... Мне было непонятно ее отсутствие, но я не ругался, не клял, просто я совершенно ничего не понимал.

Так длилось довольно долго. Наконец ко двору подъехало несколько старых грузовиков, раздалась команда: «По машинам!», «Второй взвод ко мне». Я протянул Федьке руку, и он пожал ее. Мы обнялись. Котелки гремели в наших руках во время объятия, я взял Федькин котелок и нацарапал на нем ножом: «На память» — и расписался. На зеленой краске было приятно резать, и получилось совсем неплохо. Федька еще раз пожал мне руку, снял очки и стал их протирать

уголком пиджака. Я побежал строиться. Началась перекличка. Потом мы сели в машину, поехали на Киевский вокзал, повыскакивали из машин и погрузились в вагоны. Провожających не было. Мы сидели кто на скамейках, а кто на полу на корточках, еще незнакомые, еще не сдружившиеся, но уже связанные одной солдатской ниточкой. Вечерело, и за окном было слышно, как поездная бригада постукивает молоточками по колесам, и тихий чей-то разговор:

— Отправляемся?

— Да, с минуту осталось.

В это время в дверях нашего пахнущего карболкой вагона появилась стройная маленькая женщина... Она остановилась, держась за концы накинутаго на плечи полущалка, и поглядела темными исплаканными глазами в глубь вагона. Негромким тоскливым голосом женщина крикнула:

— Василь Сергеич, ты здесь? Отзовись!..

Тотчас откуда-то из темноты кто-то испуганно откликнулся:

— Галя?

И, шагая прямо по ногам, мимо меня пробежал высокий седой человек. Женщина прильнула к нему, было слышно, как она плачет. Седой человек поднял ее на руки, как маленькую, и вынес из вагона. Состав дернулся, седой вскочил на подножку, что-то неразборчиво крича, за окном бежала маленькая женщина, держась за концы стянутого на груди платка, колеса тарахтели, поезд набирал скорость. Мы поехали.



Тепло было в этом трясащемся вагоне, тепло и уютно. Где-то в самом отдаленном уголке горела единственная тусклая лампочка, в полураскрытые окна задувало прохладительным ветерком, сладко и ново пахло махоркой. Высоко в синем небе зажглись бледные звезды и побежали за нами. Я смотрел на них, смотрел неотрывно, и, хотя в вагоне было чересчур тесно и в общем очень неудобно, я чувствовал, что здесь уже поселился и жил невидимый, но горячий дух солдатского братства. И я сразу пошел с ним на сближение, я раскрылся ему, и мне тотчас стало спокойней, и даже душевная боль как будто немного притупилась.

Я старался не думать о Вале, просто сидел в темноте и вроде дремал. Я в общем дьявольски устал за эти мои последние сутки. Я привалился к стене, осторожно протянул ноги и задремал чуть-чуть покрепче, и тут-то оказалось, что прошедшие сутки не отпускают меня, и, дремля и качаясь вместе с вагоном, я все звонил куда-то в полусне, звонил, звонил и не мог добиться ответа, и исходил бессильным отчаянием и сердечной тоской.

Видно, кто-то, проходя по вагону, толкнул меня, и я проснулся от несильной боли в боку. В вагоне стало еще теплей и немного светлей. Прямо против меня на уголышке сидел русоволосый складный парень с простым и добрым лицом. Он снял с себя верхнее и сидел в одной майке,

сверкая мощным разворотом белых плечей и билярдными шарами бицепсов. Маленький человек, которого в полумраке можно было бы принять за мальчишку, маленький, но вполне взрослый человек, с седеющими висками, в огромном кожаном пальто и в такой же кожаной кепке, сидел рядом с русоволосым богатырем. Кепка спадала на уши маленького, и рукава его пальто были много длинней рук. Тут же, сложив на коленях загорелые мосластые руки, сидел человек, на три четверти состоящий из буйной ячменного цвета бороды. Я подумал, что такая борода немыслима без ярко-голубых глаз, похожих на цветок льна. Да, глаза у этого медведя были льняные, голубые, веселые, смекалистые, — такие глаза имеют только бывалые, настоящие люди, и мне очень понравились Лен и Ячмень. Но там была еще и Кукуруза. В улыбке человек обнажал ряд ровненьких, уже пожелтевших, как кукурузные зерна, зубов. За ним некто высокий в сером с лошадиной челюстью, дальше виднелись бухгалтерский профиль, ежиковая голова, орлиный нос, слоновое ухо и много, много еще. . .

— Надо спеть, — сказал маленький человек и вздохнул, — надо спеть хорошую песню.

— Верно, — сказал сидевший в майке, — валяй, Тележка, затягивай!

36 Меня поразило, что они уже были знакомы, были на «ты» и что у них даже и прозвища какие-то появились.

Маленький человек закрыл глаза.

Там вдали за рекой
Загорались огни... —

начал он, и в вагоне сразу стало тихо, и над перестуком колес поплыл, зазвенел тонкий качающийся голос маленького человека, запевавшего первую нашу общую песню, —

В небе ясном
Заря догорала...

Он перевел дыхание, получилась маленькая пауза, все мы вдохнули воздух и —

Сотня юных бойцов

(это пели уже все)

Из буденновских войск
На разведку в поля поскакала...

Когда повторяли во второй раз, русоволосый парень взвился голосом куда-то высоко-высоко, в самое поднебесье, словно задумал совсем от нас улететь, —

Из буденновских войск... —

но его удержал на земле чей-то глубокий темно-синий бас:

На разведку в поля поскакала...

И тут мы все стали смотреть на маленького человека, стали смотреть с надеждой, нетерпеливо, торопя его и понукая, поощряя и прося...

Они ехали молча
В ночной тишине,
Ах, по широкой,
Украинской степи...

С виду бы совершенно спокойно повел рассказ дальше маленький человек, но все мы знали, что встреча и бой неминуемы:

Вдруг вдали
У реки
Засверкали
Штыки —
Это белогвардейские цепи.

И тут маленький человечек заторопился, он пел, захлебываясь от ветра, свистящего в ушах, и дрожа от бешеной скачки:

И без страха
Отряд наскочил
На врага!..
Завязалась кровавая битва...
И боец молодой
Вдруг поник головой, —
Комсомольское сердце разбито.

Теперь песня уже не гремела, она стлалась по низким волнам седого ковыля:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня,
И закрыл свои карие очи...
— Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно
Погиб за рабочих!

Слушая эту песню, я пел ее вместе со всеми и думал, что это хорошая песня, что ее не забыть никогда и что теперь пришла моя очередь ее петь. То дело давно было, в восемнадцатом году, а теперь уже сорок первый, но это все равно, — пришла моя очередь, и пусть это будет не так красиво, без тонконогих быстрых лошадей и без свиста серебряной сабли, все равно я горжусь тем, что пришло время, пришла моя очередь и я пою эту песню вместе с моим отрядом и без страха иду на врага. И может быть, думал я, у меня когда-нибудь будет сын, и я научу его этой неумирающей песне.

...Тусклая лампочка вдруг часто замигала, поезд как будто споткнулся на ходу, залязгали, набегаая один на другого, буфера, и мы остановились.

Тотчас же от дверей вагона раздался негромкий, но повелительный голос:

— Выгружаться. На платформе повзводно стройсь!

Один за другим мы протиснулись к выходу и **39**
попрыгали на платформу. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей и, когда спрыг-

нул вниз, отбежал два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. Было здорово темно. Тучи плотно задернули небо, и в воздухе запахло крепким спиртовым запахом ночного дождя. Две-три капли, тяжелые как монеты, упали мне на лицо. Я не знал, куда мне идти, не узнавая в этих суесящихся в темноте тенях никого из моих товарищей по вагону. Вдруг откуда-то слева донесся протяжный и требовательный голос:

— Второй взвод, ко мне-е!

Я обрадовался этому голосу как родному и побежал к нему. У палисадника я остановился, узнав в кричащем человеке командира Бурина. Он раскинул руки и крикнул:

— Ста-а-новись!

Я встал в строй. Дождь усилился. Послышалась команда: «Напра-во! За мной шаг-ом арш!» — и мерное похрустыванье наших шагов. Мы обогнули палисадник, прошли позади станционного здания и снова услышали строго-заботливый голос взводного:

— Под ноги! Ноги!

Впереди идущие чуть замешкались. Потом и я перепрыгнул через какой-то брус, взвод свернул вправо, прошел мимо плоских и длинных амбаров, обогнул молчаливую группу огромных ветел и вышел на мягкую мокрую, начинающую раски-

40

сать от дождя дорогу.
Сзади кто-то сказал:

— Мы на фронте.



ы шли через темную дождливую ночь по размытой, вязкой дороге, и я чувствовал, как набухает от дождя мой новенький ватник и въедливая, холодная сырость просачивается сквозь него. Лямки вещевого мешка натерли ключицы, и они ныли и саднили. Я поминутно оступался, спотыкался, терял равновесие и хватался за товарищей по шеренге, чтобы удержаться на ногах, но все это была бы ерунда, если б не ноги. Еще сегодняшним далеким утром сапоги начали свою черную работу, и они не прекращали ее ни на минуту, скребли и натирали мне своими каменными задниками пятки. Но по сравнению с теперешней болью утренние ссадины были просто пустяки. Сейчас сапоги разрушали мои ноги по-серьезному, и я понял, что мне несдобровать, что с этим делом не шутят. Я шел не видя дороги, а ноги мои грызла страшная боль, каждую минуту я говорил себе, что не дойду, что больше уже не могу сделать ни шагу, и все-таки шел.

Я не знаю, сколько это продолжалось — наверное, очень долго. Темнота все сгущалась, мы шли через самую толстую завесу ночи, был слышен наш недружный, разрозненный шаг, и впереди иногда что-то неразборчиво выкрикивал взводный.

Наконец мы втянулись в какую-то маленькую настороженную деревушку, и стало известно, что 41
здесь мы будем ночевать.

— Да в любом сараёшке, — говорил кому-то

человек (по голосу я узнал ячменную бороду. Он шел почти рядом со мной). — Сено, солома, сухо, — чего еще надо? Отоспимся, а там дале пойдем, к месту назначения...

Я сказал голосу:

— Я с вами пойду.

Он живо откликнулся:

— А то с кем же? С нами, с нами, конечно. Вон и Телёжка с нами, и Лешка, да и ты тоже. Мы вроде как своя компания. Тебе как фамилия?

Я ответил. Он сказал вдруг важно, и мне показалось, что я вижу в темноте ячмень и лен.

— А меня будешь звать Степан Михалыч, я постарше тебя.

Этот разговор очень пришелся мне по душе. Хорошо, что уже есть своя компания и что я тоже в компании, а я этого совершенно не знал. Я теперь шагал особенно внимательно и все поглядывал в сторону Степана Михалыча.

Мы шли еще и еще, кружась по деревне и плутая в ее переулках, и случайно набрали на колодец, и услышали скрип, и увидели маленький огонек. И тотчас к колодцу побежали прямо из строя многие из наших ребят. У меня давно уже пересохло горло и во рту было сухо, хоть помирай. Пот бежал по лицу и сейчас же высыхал, — такой я был разгоряченный, а дождем не напьюсь, нет, особенно на ходу, так что я вместе с другими тоже отбежал к колодцу.

Там стоял маленький керосиновый фонарик. Как он дожил до нашего времени — непонятно,

такой он был старомодный, древней формы, как паровоз, на котором ехал Стефенсон. Колодец был обыкновенный журавль, распоряжалась здесь молодая женщина: она опускала легкое ведро вниз, ловко перебирая руками, как будто мерялась в чижика, жестяное ведро шлепалось где-то неглубоко, и женщина подымала его кверху. Подавая нам воду, женщина глядела на пьющих, и из прекрасных огромных ее глаз бежали небыстрые слезы. Мы пили из ее теплых родных рук чистую холодную воду. Старые, молодые, хорошие или плохие, мы все пили из ее рук, это была наша женщина; и хотя она была молодая и очень красивая, я услышал, как старый человек с толстым носом сказал ей, отдавая ведро:

— Спасибо, мать.

Я напился воды досыта, а все стоял. Жалко было уходить. Здесь на ветру, у маленького фонаря, в брызгах и скрипе старого колодца, сияли добрые, прекрасные глаза, они отогревали душу, и не хотелось уходить. Но откуда-то издалека раздался негромкий, но слышный тенорок Степана Михалыча:

— Мии-тяя-а!..

Я взглянул на женщину, она улыбнулась мне сквозь слезы, я кивнул ей и побежал на зов, прихрамывая сильнее, чем обычно...

Это был довольно большой сарай, наполовину набитый соломой, и в темноте уже пахло черным хлебом и слышно было, как возятся люди, шурша соломой и устраивая себе ночлег. Слышно было уже сладкое позевывание с подвыванием, и звя-

канье отстегиваемых ремней, и только что народившийся ядреный храп.

Я сказал наугад:

— Степан Михалыч?

Он как будто ждал меня.

— Митька? — отозвался он строго откуда-то слева.

— Ага, — сказал я и двинулся к нему.

— Шляешься, — сказал Степан Михалыч. — Иди сюда, тут вся наша публика. Иди, малый, не бойсь. Тележка, посунься-ка малость. Лешка, пусть-ка он с тобой ляжет.

Степан Михалыч был за старшего. Все его слушались.

— Давай сюда, — сказал Лешка.

Я пошел на его голос и, дойдя, опустился на солому. За моей спиной солома стояла твердой колючей стеной, на нее можно было опереться. Надерганная из этой стены, она лежала подо мной как хрустящий роскошный пуховик. Мне казалось, она светится в темноте небывалым золотым светом.

— Еще суток двое пройдет, пока до места доберемся, — сказал Степан Михалыч. — Есть-то хочешь, малый?

— Нет, — сказал я, — устал. . .

— Отдыхай, — сказал Степаныч, — устал, так отдыхай.

44 Я снял с себя ватник и положил его в головы. Теперь я пытался снять сапоги. Они не давались, и я сопел от напряжения.

— Давай помогу, — сказал кто-то рядом, и на

фоне открытой двери я узнал маленького Тележку.

Я сказал:

— Не надо, я сам.

— Давай я, — сказал лежавший рядом Лешка, — сиди, Тележка.

Он встал на колени и помог мне стащить сапоги.

Снять носки я побоялся, потрогал только руками, носки прилипли к пяткам, и я знал, что под ними раны.

— Ноги сбил, — сказал я, — стер к чертовой матери, еле дошел.

— Ноги надо беречь, за ноги солдата на губу сажают, — сказал Степан Михалыч.

— Ну и сапожище же, — сказал Лешка, — тут сотрешь! Как из листового железа.

— Ты, Лешка, — опять вмешался Степан Михалыч, — ты завтра разбей ему, ведь погибнет.

— Ладно, сделаем, — сказал Лешка. Он помолчал, а потом спросил, чуть придвинувшись, как бы уже заводя разговор, касающийся только нас двоих: — Парень, а ты кем?

— Маляр я, — сказал я, — в театре маляр.

— В театре? Вот интересно! — живо воскликнул Лешка. — Там всегда интересно. Артисты... Слушай, скажи, верно говорят, что артисты, когда на сцене плачут, они себе незаметно глаза луком натирают, чтобы слезы текли?

— Брехня, — сказал я.

— А артистки красивые? — спросил Лешка.

— Красивые.

— Все?

— Все.

— До одной?

— До одной!

— Врешь.

— Леша, — спросил я, — а ты кем работаешь?

Кто ты?

— Я разнорабочий, — сказал он, — на заводе болванки таскаю. Делу еще не выучился. Года не те, на фронт и то года не подошли.

— Выучись, — сказал Степан Михалыч, который, видно, слушал нас, — выучись и будешь инженер или, как Тележка, архитектор.

— Воевать нужно, — сказал Тележка, — вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога...

— Не скажи, — сказал Степан Михалыч, — ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы все равно дело сделаем. Мы свое дело сделаем. Не скрипи, Телега.

— Я не скриплю, — сказал Тележка, — не в том дело. Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и еще в два раза больше.

— Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвется душа! Это понятно, это я вижу!

— Всё-то видите, всё-то вы знаете, дорогие наши Степаны Михалычи, — вздохнул Тележка. — Не вахтер с «Самоточки», а чистый профессор кислых щей. Все про людей понимает.

— Не строй из себя, — сказал Степан Михалыч, — брось смешки. Не глупей вас.

— Да нет, я серьезно, — сказал Тележка и снова вздохнул. — Может, поспим?

— Пора, верно, — сказал Степан Михалыч. — Мить, ты что, уснул, что ли?

— Да нет, — сказал я, — нога болит.

— А ты где ее взял... эту твою... хромость-то? — деликатно, боясь обидеть, спросил Лешка.

— В детстве. Машиной стукнуло...

— Беда, — сказал Степан Михалыч.

— Но он ловко шкандыбает, — заступился Лешка, — ничего не скажешь, управляется. Это как у тебя получилось? — Он, видно, уже меня спрашивал. Но мне не хотелось об этом говорить, и я сказал:

— В другой раз, Леша. Спать охота.

Он ничего не ответил, замолчал. А мне уж очень не хотелось вспоминать тот день. Не хотелось, но оно само пошло. Все-таки я снова увидел, какой я был тогда маленький, — я еще поднимался на цыпочки, вставал на приступку, чтобы позвонить домой. На дворе было солнечно и весело, мы играли с ребятами в салочки. Отец вышел из дому с соломенной корзинкой в руках, он шел на рынок, а мне всегда нравилось ходить с ним, не только на рынок, а куда угодно, и, когда я увидел его, я помчался к нему и уцепился за корзинку и стал просить его взять меня с собой. Но отец сказал, что ему нужно очень быстро обернуться и что я буду только мешаться под ногами. И я отстал, и он вышел из ворот, помахал корзинкой, а мне вдруг стало обидно и тоскливо, и я побежал посмотреть, как он свернет за угол. На улице было мало народу, и я видел, как отец свернул за угол, и стал возвращаться, а в это время из

каких-то ворот задом выскочил грузовик и огромной своей шиной переехал мне левую ногу.

Когда отец вернулся с рынка, я уже лежал в больнице. И я долго там лежал, а когда вышел, уже был хромой. Отец никогда не мог простить себе, что не взял меня тогда. С тех пор он всюду меня брал и всегда держал меня на коленях, или если это было нельзя, то старался погладить по голове. И когда он меня так гладил, мама всегда плакала...

Я лежал в сарае, в темноте, закинув руки за голову, укрытый соломой, рядом со мной лежал разнорабочий Лешка, обдавая меня своим молочным дыханием, за широко открытыми дверями в огромном небе бегали рваные тучи, дождь возился в соломе, как осенняя мышь...



48 тром нас снова построили, и мы, отдохнувшие за ночь, пошли дальше, и двигались довольно бодро. Ноги мои еще болели, но Лешка перед выходом взял у меня сапоги, долго колотил камнем, в конце концов раздробил чугунные задники и насовал по полпуда соломы в каждый сапог. Сейчас я шел почти не страдая и чувствовал себя как в раю. К тому же и утро было веселое: светило солнце, молодые облака разбегались по небу врассыпную, словно

стараясь поскорее скрыться от строгого хозяина. С небольшими привалами шли мы почти весь день, и наконец нам сказали, что мы пришли.

Это было огромное поле, распластавшееся подле небольшой деревушки, стоявшей на двух берегах маленькой речки, от нее метрах в пятистах. Мы остановились на этом поле и вытянулись длинной неровной пестрой шеренгой. Теперь на солнце хорошо была видна наша разноперая одежда, возрастная наша путаница и полная несогласица во всем, начиная от манеры двигаться, до манеры стоять вольно. Нет, это была не армия, куда там, никакого сравнения! И у меня снова заныла старая косточка обиды на судьбу, не давшую мне стать настоящим солдатом.

Тем временем среди нас появились люди с веревками и кольшками и стали натягивать эти веревки и кольшки по одной прямой, только им одним ведомой линии. Это продолжалось довольно долго, шеренга наша расстроилась, многие уже сидели на земле или лежали, покуривая. Вдруг мы услышали звук автомобильного мотора, и прямо к нам, переваливаясь через кочки и ухабины, откуда-то выскочила маленькая «эмка», по уши заляпанная грязью. Машина не успела еще остановиться, как из нее вырвался человек с измятым, желтым, нездоровым лицом. Человек этот взбежал на пригорок, повернулся к нам лицом и заговорил. Он был довольно далеко от меня, сильный ветер хватал слова у самого его рта и отбрасывал на правый фланг, и я почти ничего не слышал. Но по тому, как крылато взметыва-

лись руки этого человека, по злому, дикому напряжению всего его тела было видно, что говорил он хорошо. Он потрясал кулаками и показывал в землю, он грозил врагу, и приказывал, и вел нас за собой, и, когда правофланговые нестройно закричали «ура», мы, ничего не слышавшие, но хорошо почувявшие ненависть, пылающую в сердце оратора, мы тоже крикнули «ура».

Подъехали грузовики, нам роздали лопаты, и человек, говоривший речь, первым схватил лопату и со страшной силой вонзил ее в землю. Он выворотил здоровенный ком, было слышно, как трещал дерн. Не раздеваясь, не ожидая команды, мы похватали свои лопаты и накинулись на землю. Земля сотряслась от наших ударов. Человек, говоривший речь, вскочил в машину, и она поскакала вдоль фронта работ. Вслед за ее колесами катилось горячее «ура». Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы... Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.





Через час огромный вал свежееотрытой коричневой земли протянулся по трехверстному фронту. Это было ослепительное начало. Мы смотрели и не верили, что это сделали мы. Мы гордились этой комковатой, неприбранной землей и, хотя самое трудное было впереди, мы уже видели, что сможем — можем, черт побери! Вот они, результаты нашего труда, они пахнут сыростью, в них копошатся дождевые черви, но намечена первая линия огромного рва — значит, дело будет доделано и сослужит свою службу.

Я захотел пить. Река была неподалеку. Низкий неказистый кустарник рос на ее берегу. Спустившись, я увидел нашего Тележку. Он сидел сняв шапку и распахнув грудь. С седых его висков сбегали струйки, под глазами лежали лиловые тени, щеки пылали. Небольшой кружечкой Тележка черпал воду из реки и пил. Я взял у него кружечку.

— Митя, — сказал Тележка, клацая зубами, — ты ноги сбил, а я руки натер до крови, два сапога пара.

Он показал свои руки. На ладонях были огромные, уже успевшие лопнуть волдыри, из-под них выглядывала нежная, розовая, вся в кровавых ссадинах 51
кожа.

Из-за куста вышел Степан Михалыч.

— Надо перебинтовать, — сказал он. — Не набрасывайся на лопату, не жми, не в том дело. Здесь умом надо, а так ты совсем из строя выйдешь, Телега...

Тележка сидел и смотрел на реку.

— Меня знобит, — сказал он.

— Ты эту воду пил?! — закричал Степан Михалыч. — Ну что мне с вами делать, интеллигенция необразованная? Ведь она речная, зябкая, в ней бог весть что плавает. Ведь это рыск! Не смей пить! — крикнул он мне и вышиб кружечку из моих рук. — Привезут воды или отведут на ночевку — колодезной попьешь! Посдыхаете тут, а кто работать будет?

Я прополоскал водой рот, зубы заныли, заломило челюсти. Я с удивлением посмотрел на хлипкого Тележку, — как он мог пить такую?

Мы снова вернулись на место и стали копать. Оратор давно уехал, многие бегали по нужде за кусты, первый порыв пролетел, и на нашем участке как бы наступили будни.

В это время к нам пришел еще один парень (я уже видел его издалека). Он был в очках, с наискосок сломанным передним зубом, щегольски одетый в галифе и ковбойку.

— Кто здесь отделенный? — спросил парень.

Мы переглянулись. У нас не было отделенного. Лешка сказал:

52

— Пусть Степан Михайлович.

Парень в очках сказал:

— Норму задания будете получать на пяте-

рых. Я пятый. Меня Бурин прислал. Прошу любить и жаловать — Сергей. Любомиров.

Степан Михалыч сказал:

— Студент?

Парень сказал:

— Откуда вам это известно?

— По запаху чую, — улыбнулся Степан Михалыч, — во мне рентген сидит на вашего брата. Становись.

Любомиров снял свитер и обнажил желтые неширокие плечи с рельефно выступающими узкими тугими мышцами. Не торопясь он взял лопату и отрезал аккуратный полновесный ломоть земли и аккуратно, как пекарь только что испеченный хлеб, ссунул эту землю позади себя. Степан Михалыч сказал:

— Вполне.

Мы стали работать впятером. Мы работали так почти до вечера, и у нас дело здорово двинулось вперед. Наша пятерка ушла почти по пояс в землю, когда Тележка отложил лопату в сторону и сел на сырую землю.

— У меня температура, — сказал он, и все мы услышали его хрипкое дыхание, — у меня, наверное, не меньше тридцати восьми.

— Час от часу, — сказал Степан Михалыч, — говорил я тебе.

Лешка положил свою выпачканную землей ладонь на лоб Тележке.

— Ага, — сказал он, — можно оладьи печь.

— Мне бы попить, — сказал Тележка тихо.

— Терпи, — попросил его Степан Михалыч.

— У меня там фляжка, я сейчас, — сказал Серега Любомиров и ловко выскочил наверх, — у меня есть немного кипяченой.

Он убежал. Мы стояли вокруг маленького хилого Тележки, смотрели на его взъерошенные редкие волосы и не знали, что делать. Тележка дышал ртом, и хрипы резвились в его груди.

По гребню земли пробирался человек в перевязанных бечевками бутсах. Торс его был обнажен и разукрашен разнообразной татуировкой. На груди, конечно, «Боже, храни моряка» и «Не забуду мать родную» — литература не новая. Длинный, кривой, как турецкая сабля, нос.

Человек подошел к нам и уставился на Тележку спокойным и наглым взглядом выпуклых глаз.

— Доходяга, — сказал он, мотнув носом в сторону Тележки, — фитилек. Когда догорит, отдайте мне его пайку.

— Здесь тебе не лагерь, — сказал Тележка, — иди, блатной, я еще тебя переживу.

— Я не блатной, — сказал человек нагло, — осторожней выражайтесь...

— Каторжан ты, — перебил его Степан Мыхалыч, — самый что ни на есть каторжан. Форменная каторга.

— Ну отделенный! — восхищенно засмеялся Лешка. — Ведь как прилепил! Каторга — каторга и есть.

54 Человек на гребне, видно, не захотел скандала.

— Наплевать на вас, — сказал он презрительно, — до следующего раза!

И ушел. А к нам прыгнул вернувшийся Сережа Любомиров. Он открыл фляжку и дал ее пососать Тележке. Тележка устал сосать и сказал, отворачиваясь:

— Себе оставьте.

Наверху стоял Семен Семеныч Бурин — наше высшее начальство. Его привел с собой Сережа. Бурин сказал сверху:

— Обычная история. Работает горячо, вода ледяная. Пьет эту воду, устал, вспотел, ветер, а он грудь растворяет. Чего же ждать? Только воспаления легких. А ну, посадите его сюда!

Мы стали подсаживать Тележку, Бурин протянул ему руку.

— Сегодня ночуешь в школе со мной, — там штаб. Таблетки, то да се. Если завтра полегчает, поставлю на легкую работу: гальюны будешь рыть. Не полегчает — отправлю в Москву.

— Полегчает, — сказал Тележка, — а что это за птица — гальюны?

— Это морское выражение, — серьезно ответил Бурин, — а по-нашему, по-пехотному, — значит отхожие места.

— Но почему же именно я? — вскинулся Тележка. — Людей мало?

— Не разговаривать, слабосильная команда! — сказал Бурин. — Счастья своего не понимаешь! Иди за мной!

Он вроде бы улыбнулся, но спохватился, что командиру нельзя, и насупился.

— Сказал — и в темный лес ягненка поволок, — вяло пошутил Тележка и поплелся за ним следом.



то просто удивительно — до чего у меня болело все тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным, царапающим словом: креппатура. Это случается, когда, давно не тренированные, они вдруг сразу, в один прекрасный вечер, бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая «креппатура», явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно в результате ежедневной тренировки оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрел до предоставленного нам овина и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натер, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли, да и краски растирать в десятилитровом ведре — дело не для слабеньких.

Но с ногами было худо. Утром Лешка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и все равно заживить-то невозможно, — ведь работать нужно каждый день, а босиком много не накопаешь.

56 Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали, встать предстояло в пять утра, и я растянулся на соломе рядом с Лешей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу

одолевает меня и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют ее из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком, она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце, и сна как не бывало. И я опять стал думать о моей невезучей и удивительной любви.

...Я нес тогда за нею цветы.

Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую, вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое все равно пропадет в очереди на вешалку, на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу:

— Цветы принесите мне, ладно?

Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела еще и улыбнуться мне, и я как обожженный побежал к середине сцены, где стояли ее цветы. Это была большущая безвкусная корзина, в ней застыли, словно сделанные из маргаритового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мертвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и все же я поднял эту тяжеленную пошлость и понес, хромая и спотыкаясь. Когда добрал до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул ее ногой, вошел и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной. Видно, она только что сняла с себя театральное платье и халат успела надеть только в один рукав.

Я до сих пор не понимаю, что со мною стало.

— Извините, — сказал я и схватил ее за плечи.

Я хотел поцеловать ее, а она отворачивалась, и я все время думал, что сейчас она вырвется и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Все это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но все-таки я поцеловал ее в губы. Да, это было так. Потом выпустил ее. Она надела халат как следует и сказала:

— Ну и ну! Смел, нечего сказать! Ступайте. Подождете на улице.

Я шел по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми, даже этот новый гусак, поступивший к нам не иначе как в поисках брони, артист на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Я прошел мимо него, совершенно одуревший, на улицу. Стал ждать Валю, и дождался ее. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы:

— Перейдите на ту сторону и сверните налево...

И я опять молчаливо покорился ей. И пошел на ту сторону, и свернул, и догнал ее в темном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне.

58 Дома у себя она быстро все устроила, выпила водки сама и дала выпить мне, и такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой...

Она налила еще водки. Я раньше мало пил, то есть совсем не пил, и меня нельзя было уговорить, потому что мне не нравилась водка, ее в общем-то противный вкус, но тут, у Вали, я пил как миленький, стоило ей только налить и предложить. Я живо научился. И вот она взяла налитую рюмку и, держа ее в своих длинных пальцах, отошла в глубь комнаты.

— Вы мой поклонник? — сказала она.

Я сказал:

— Это какое-то не такое слово. Поклонник — это ерунда...

Она поправилась:

— Я имею в виду, ну, знаете, — театральный поклонник! Болельщик... Вам нравится смотреть меня на сцене?

— Я всегда смотрю вас.

— Я знаю... Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.

У меня застучало в висках:

— Над этим не смеются.

Она отошла еще дальше.

— Байрон был хромым... Вы знаете, о ком я говорю?..

Я встал:

— Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай...

— Ого, — сказала она, — смотри-ка, интеллектушко! Не уходите, с вами стоит пить. Тем более, что, по-моему, вы и еще кое-чем похожи на Байрона. 59

— Чем же?

Она села на край дивана, рюмка все еще плескалась в ее руках. Она сказала тихо и внятно:

— Байрон тоже был красивый...

«Значит, она уже пьяная, — подумал я, — пошла чепуху городить». Я так ей и сказал:

— Вы уже пьяная, да?

Она засмеялась, но тоже очень тихо и внятно, и потом сказала:

— Вот что: после всех ваших безумств там, в театре, нам ничего не остается другого, нам нужно выпить на брудершафт.

Я подошел к ней. Мы переплели наши руки и выпили.

И она поцеловала меня, а я ее... Трудно про это вспоминать.

А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шел по моей прекрасной Москве, впервые в жизни пьяный и впервые в жизни познавший женщину, честное слово, впервые в жизни! И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же притворяться, знаю. Прекрасно знаю.

Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подает, что любит меня? Ведь она же не замужем.

В общем, если мы были не в постели, мы были на «вы»...

И я любил, любил ее...

...А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.

Были дни, когда казалось, что мне повезло: я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осоавиахимовских активистов, он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного сформирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята — старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.

Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызенной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:

— Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр — полевой карьер!!

Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в

стойло. Этот сволочной Громобой за версту почувял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления прижал меня своим косматым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом:

— Принять!..

Тут он сразу отскочил как ошпаренный.

В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса. И я ушел с Хамовнического плаца, сопровождаемый визгливым хохотом кобыл.

Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал — совсем пропаду.

Вале я про все это не рассказывал; она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро все разведаль, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, а своего добился, и меня зачислили. Нельзя рас-

сказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступить перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.

И вот я зашел к Вале. Она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала:

— Среди бела дня, могут войти, уходите...

Я сказал:

— Валя, прощай! Я послезавтра уйду в ополчение.

Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.

Она спросила:

— А как же...

Я понял.

— Там хромота не мешает.

Тогда она медленно положила голову на грифельный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:

— Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.

Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я купил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и ждал. Напрасно, зря стоял.

...Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.



Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и просто невозможно от них избавиться. Так было и сейчас. Я не мог просто лежать или просто отдохнуть на перекуре. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой

орудовал стоящий глубоко внизу человек, влезла кверху, только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взмётывал свою ношу еще выше к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, лопаты, только лопаты, ни бадей, ни блоков, ни тачек, ничего, кроме лопат. Дерьмо это было, а не лопаты. Они гнулись от жесткого грунта, у них были плохо зашкуренные рукоятки, часто ломающиеся и занозящие наши руки. Какая беспримерная сволочь равнодушно подсунула нам эти лопаты? Ведь мы вышли защищать наших женщин, наших детей, нашу Москву? ..

И все-таки мы держались за эти лопаты, — это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнились гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть, крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.

Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов, батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки у азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защи-

тился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, такой белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый — грудь болит. Вот неугомонный шестидесятилетний бабник — аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бирик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!

В эти дни установилась славная, почти летняя погода. Здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного окрепли, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настраение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой, люди все ждали чего-то, 66 томилась, болели сердцем за близких и за все общее, и при встречах, когда шли на работу, или

домой, или на перекуре, все спрашивали друг друга: не слышал ли кто чего? А слышали, конечно, часто и все больше плохое...

Тяжело это было, люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после восемнадцати часов труда, не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе — я заметил — говорят тоже тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный, смертельный огонь.



рел отдали, — сказал холодным ветерным утром Степан Михалыч.

— Да, — сказал Фролов, — прет, зараза, на Тулу... Есть сведения.

— Скоро сюда объявится, — сказал Лешка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит.

Но Сережка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко:

— Хрен ему в горло! Здесь ему конец!!

Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и, в который раз кляня свою мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошел. За мною по-

тянулись все, и мы снова начали работать, и работали сегодня особенно ярко, молча, без разговоров.

Дело было на новом участке, я уже выкинул с кубометр. Лешка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой, золотой человек, иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней, — видно, здесь сводили когда-то лес, а фронт наших эскарпов тянулся как по ниточке, и если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали.

Мы с Лешкой стали как раз корчевать огромный пнище. Пень запустил свои берендеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубать ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелегкое, мы с Лешкой сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял Каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил:

— Кроот! Давай сюда-а-а! Крот выкопался!!

Мы сбежали и сгрудились вокруг Каторги. У него на лопате лежала маленькая черная шерстистая свинка. У нее был розовый подвижной пяточок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы уставились на крота как на чудо. Лешка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть, Байсеитов сказал:

— Животная...

И на странное, ханское его лицо легла легкая, нежная тень.

Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота. Ему хотелось отличиться, наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он заорал:

— Топить!

И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Все это произошло очень быстро, и можно было расходиться.

Но Геворкян тихо сказал:

— А жаль. Крот — он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп.

По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчало маленькое рыльце, это наш бодрый работяга крот подумал, что жизнь — это чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности, всплыл и уцепился за щепочку. Лешка первый это понял и хлопнул себя по бокам и закричал, повизгивая от восторга:

— Ай, кротяга! Всплыл! Ай, чертова сопелка! Спасать!! — И в чем был, золотой наш Леха, пошлепал по течению вниз, зашел в воду, подождал и вытащил крота.

Он вынес его на берег, встал на колени и, подув зачем-то на землю, положил крота. Крот

трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лешка сказал строго:

— Дайте солнца!

И мы раздвинулись, чтоб крот мог отогреться.

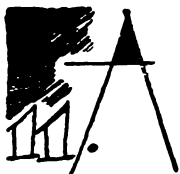
А Лешка снял сапоги, портки и трусы и стоял в одном ватнике, — мальчик с круглыми коленками.

Крот грелся, оживал, и все становилось на место.

Нужно было идти работать, и так сколько времени потеряли. Я прошел и задел Каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, шикарно ухмыляясь:

— Ходи вежливо, жлобяра. А то тебе выйдет боком. Я накопляю на тебя матерьял.

Я не стал ему отвечать. Я пошел к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лешку.



ночью вдруг задул северный ледяной ветер. Он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей, было тоскливо, хоть вешайся, да иначе и быть не могло: на дворе стоял октябрь, проклятый октябрь сорок первого года, такой несчастливый для нашей земли.

— Теперь сарайной жизни конец, надышались вольным воздухом, — сказал Лешка и вздохнул. — Чуть рассветлит — надо в деревню перебираться.

— Переведут организованно, — сказал Тележка. Он уже давно вырыл гальюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами.

Но Лешка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нем.

— На бога надейся... — сказал Лешка с мудрой улыбкой.

Деревня Щеткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полтора. Мы жили в ее гумнах, совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с ее обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбиться из жестокого ее ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте. Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна, мы были сами по себе, они сами по себе. Знали только, что стоит Щеткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, что ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть еще малая часть Щеткина, как бы затыльная, заречная его часть.

В сарае становилось все холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые, недобрые тучи всползали на небо. Мы все стояли у сарайных дверей и смотрели в поле.

— Сходим, постучимся, — сказал Лешка, — чем зябнуть, все лучше.

Он двинулся к двери. Я пошел за ним.

— А то посиди, — сказал Лешка, не оглядываясь, — чего тебе-то. Я все сделаю.

— Я с тобой, — сказал я.

Мы пошли по узкой невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было еще темновато, и, хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как немытая ладонь, вся какая-то нищая и пустая. Безрадостно было идти по ее неприветным улицам.

Дома были какие-то полуслепые, и по Лешкиной походке я видел, что ему неохота идти и проситься на ночлег ни в один из этих домов.

— Пойдем туда, за речку, через мост, — сказал он.

Мы спустились и пошли через мостик, ветхий, пугливо вздрагивающий под нашими шагами, и, когда сошли с него, поднялись немного в гору. Здесь у домов не было даже палисадников, ограды дворов сплетены черт знает из чего — из веток, из палок с надетыми на них ржавыми банками, из обрезков старой кровли, разноцветных тесинок, хвороста и прочего барахла.

— Бедность, — сказал Лешка пригорюнившимся голосом, — бедность. Толканемся сюда?

Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившейся набок крышей, похожий на больного человека, которому уже трудно держать голову прямо. В окнах мелькал слабый огонек, — видно, хо-

зайка встала спозаранку и теперь растапливала печь.

Лешка взошел на крылечко и постучал. Дверь открылась.

Лешка сказал:

— Баушк, мы хотим у тебя ночевать.

Она сказала:

— А вас сколько?

Лешка сказал:

— Ну, пятеро! Не замерзать же в сарае!

— Вы московские, что ль, ополченцы?

— Ну да.

— Прямо не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая, кроватей нету.

— Мы на полу, что вы, баушк.

— Было бы тепло, — сказал я.

— Топить-то мы топим...

— И мы когда дров притащим, — сказал я.

— Мы каждый день будем таскать, — сказал Лешка, — ведь мы из лесу ходим. Насчет дров не сомневайтесь, баушк.

— Прямо и не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.

— Мы очень хорошие, — сказал Лешка, — мы платить будем вам, баушк, у нас деньги есть.

— Деньги это не надо, — сказала она, — стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. Да вас вон сколько, пять душ!

— В тесноте да не в обиде. Верно, баушк?

— Это-то верно, — сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в ее голосе.

А Лешка пошел с козыря:

— Мы вашей внучке сахарку будем давать, баушк.

— А когда придете-то? — спросила она. — Я по-лы вымою. А так у меня мальчик, Васька есть, ему если только сахарку, а внушек нет никаких...

— Мы вечером придем, — сказал Лешка, — вы только нам соломки натаскайте. Как стемнеет, мы придем.

— Ну, я буду в ожидании, — сказала старуха и протянула Лешке руку, — ребята вы больно участливые.

— До свиданья, — сказал я.

— Спасибо, баушк, — заключил Лешка.

— Да не зови ты меня баушкой, — вдруг встрепенулась старуха, — какая я баушка, я хозяйка, а не баушка. Это я неприбранная, утрешняя, вот тебе и мнится все баушка. Я 'еще хоть куда!

Она улыбнулась тихо и несмело.

— Вы зовите меня теткой Груней, — сказала она, вдруг повеселев. — Ну, а вас как?

Мы назвались ей поочередно, и она сказала:

— Очень приятно...

Еще раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протопали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:

— До свиданья, баушк. Спасибо, баушк. Уж вы как-нибудь, баушк! Верно, баушк! Мы, баушк, да вы, баушк.

Лешка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в три погибели,

— Сдохну! — закричал он. — Сейчас лопну!
Ой, перестань!

— Что с вами, баушк? — сказал я.

— Замолчи, — орал Лешка, — умру! Я, говорит, еще хоть куда!

— Я вас не понимаю, баушк.

— Перестань! — застонал Лешка. — Ведь я подольститься хотел, повежливей чтоб выходило, понял, нет?

— Понял, баушк.

— Ой! — И Лешка снова схватился за живот.

Наконец отдышавшись, мы пошли с ним дальше.

— Устроились все же, — сказал Лешка, — теперь в тепле будем, а это, брат, великая вещь. Возьмем Сережку, Степан Михалыча и Тележку, напишем на доме — второе отделение второго взвода, и ура.

Я сказал:

— Надо бы Геворкяна к нам и еще казаха.

— Ага, — сказал Лешка, — обязательно. И Фролова бы хорошо, и хворого этого, как его, за был фамилию?

— Киселев, — сказал я.

— Во-во. Его, — сказал Лешка. — И еврея этого, что баб любит, хороший мужик, и пожарника, конечно, Хомяка.

— Давай, давай, — сказал я, — будем жить в одном доме тыща человек.

— А хорошо бы, — засмеялся Лешка, — я со-
гласен. Гляди-ка!

Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурзанная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней, на земле, лежала телега, груженная бревнами. Телега лежала на боку, и, видно, бревна были увязаны ладно, по-хозяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали набок и своею тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колеса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:

— Рразом! Давай! Ну, господа бога, давай же!

Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, отставляя репицу, девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошел в проулок к этой девчонке, и Лешка пошел за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Аленушка. В руках ее был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший ее у ручья, наверно, не знал ее дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Аленушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя! Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хриловато и дерзко:

— Давай помогай, кавалеры!

Мы поставили ее телегу на колеса. Когда ста-

вили, я видел рядом со своей Аленушкину руку, озябшую и красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Аленушка кричала что-то дикое и устрашающее.

Потом она поправила волосы и сказала:

— Ай да мужики! Что значит мужики-то...

Плохо бабам без мужиков!

Лешка сказал строго:

— Тебе сколько лет?

Она удивилась:

— А тебе на кой?

— Больно ругаться здорова. Не дело.

Она отвернулась и сказала, уставившись в забор:

— Это я без души и мысли. От тяжести. А тебе не нравится — вали отсюда.

Я сказал:

— Как вас зовут?

Она обернулась и посмотрела недоверчиво:

— Дуня. Табаринины мы.

Я протянул ей руку, и она тотчас, улыбаясь, протянула мне свою озябшую маленькую ручку.

Я сказал:

— Мы теперь у тети Груни будем жить.

— За речкой?

— Да.

— Там тише...

— Вот и хорошо.

— Кто как любит...

— Верно.

— Ну что ж. Спасибо.

Она взялась за вожжи.

— Не стоит, что вы. Увидимся?

Она снова посмотрела удивленно:

— А у вас есть желание?

— Есть.

Она ответила:

— Было бы желание, а там, бог даст, увидимся...

Она задергала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шелковых, небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умильным кнутиком. А я остался и не мог двинуться с места, а рядом со мной стоял Лешка, и наверно, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лешка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:

— Ну? Ты что? Окаменел, что ли?



ак только мы с Лешкой пришли, товарищ Бурин, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал:

— Наступает зима. Вот. Чего же ожидать? Безусловно холода. Переходим, значит, на зимнее положение.

78 Уже договорились: спать будем в домах. Теперь новые распоряжения: побудка устанавливается в четыре утра. Перекуры это бич. Сокращаем перекуры с десяти минут ежечасно до пяти. Обед —

час. Много. Полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает, сами считайте насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прет, бл...га. Так что надеюсь на вас.

Он кончил свою речь и ушел, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому, что было ясно: это не его приказ, не он это выдумал, чтоб нам меньше спать, этот приказ — результат обстановки на фронте, этот приказ идет сверху, а если там так приказывают, значит, дело наше плоховато, значит, пока еще ничего нет хорошего после трех месяцев войны.

Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, от всякой информации, замерзшие, плохо оснащенные и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать — только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.

Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошел дождь, осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч слышался одинокий саднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушел по направлению к Москве. В перекуре мы развели костер. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она го-

рела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра и, когда отошел, мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.

— Хотя бы по винтовке дали в случае чего, — сказал Лешка.

— Да, лопата не стрелит, — поддержал его Горшков, беззаботный плотник с «Борца».

Вот, вот. Это было то самое, что давно уже глодало наши души. Сережа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.

— Ах черт его раздери, — он весь затрясся и стал растирать себе шею, — это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?

— У армии есть оружие, — сказал Степан Михалыч, — не робь, Серега!

— Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! — Сережка кричал как безумный. Он поднял лопату над собой и, не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. — Вот она, — кричал он, срываясь и захлебываясь, — вот она лопатка, старый друг! И все! А что еще? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!

— Все сгодится, — снова сказал Степан Михалыч и покачал головой, — на этот раз, сынка, все сгодится. Одному там танк или, скажем, миномет, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Сережка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.

Сережка снова прыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул как ножом, деревья завывали и стали бить веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я все время думал, что Сережка тысячу раз прав.

А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал ее голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскребывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.

— Давай, Мотя, — негромко сказал он. — Послушаем наши дела...

Да, плохие вести читал нам свежим, певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.

«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это всё мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И все это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые,

стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять...

— «В деревне Дворики, — читал Мотя, — фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрену Валугу...»

— Громче! Не слышно... — перебил Мотьку Каторга и стал расчесывать грязные цыпки на потрескавшихся руках... Мотька остановился и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках. — Врут это, — снова сказал Каторга, глумясь. — Один на один не изнасилуешь!

Я обошел Лешку, пройдя перед Бибриком и Киселевым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.

— Ну, все! — торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесемку крови.

Он все еще отступал, словно для разбега.

— Уж пошутить нельзя человеку? — крикнул он надрывно. — Шуток не понимаешь, хромая ты гниль? Теперь все! — Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. — Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!

Каторга выхватил нож и, горлопаня и матерясь, стал исполнять увертюру перед тем, как ударить. Он жеманничал, и красовался, и рвал на себе рубашку, и все время напоминал мне о прощальном письме к мамаше.

82

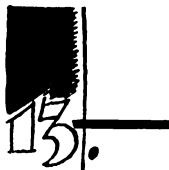
Но у меня не было матери. Я побежал к нему навстречу, нога мешала мне, но я добежал и сно-

ва дал ему изо всех сил. Теперь он упал, и я кинулся ему на горло. Каторга изловчился и тусклым своим ножом резанул меня, где сердце. Ватник спас меня. Нас растащили. Шуму не было. Я пошел на место. Каторга кликушествовал, не отдавая ножа, и клялся, что мне не жить.

Я видел, как рвется к нему Лешка. Но Байсеитов остановил Лешку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсеитова были страшней волчьего капкана. Байсеитов отпустил его.

— Читай, Мотя, дальше, — тихо сказал Степан Михалыч.

И Мотя стал читать дальше.

 аш учетчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал «Бей!» на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тетки Груни. Маленький желтоволосый ее сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему обо всем. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезет Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь.

Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.

Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале.

«Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда еще не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно поверил, что ты меня любишь. И понял еще и то, что я-то тебя люблю и что это написано во мне большими буквами и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы бог знает когда встретимся. Я ступил на тропу войны — так говорили индейцы моего детства — и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня, здесь, я пойду дальше, а если и там я выживу, в пятистах боях, я пойду в пятисот первый. Я пойду несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной, я пойду несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига, нет, это железная необходимость, это моя правда, мой долг, мне иначе не жить. И вот вопрос: зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя: сказать нужно, нельзя молчать, а ты вот меня любишь — значит, тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо, я хочу дожить до Победы, и я доживу до нее, я вернусь домой, живой и здоровый, и я тебе очень понрав-

люсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами, и я увижу тебя и обниму.

Я сижу сейчас в полутемной комнате тетки Груни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь немного — четырнадцать человек да трое хозяев. Невообразимо тесно, мои товарищи тоже пишут письма, они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят, я слышу любовный хор карандашей, их соловьиный мощный разлив...

Если бы ты написала мне. Это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова, ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М.»

Я сложил нескладное это письмо в треугольник и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошел к нему.

— Вейсман, — сказал я, — хотите иметь слугу и раба?

— А на хрена? — сказал Вейсман. — Что я, барон?

— Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ.

Он поскреб в затылке и сказал:

— Если дело любовное, то я постараюсь.

— Любовное, — сказал я, — не беспокойтесь.

— Красивая? — спросил Вейсман, и в глазах его зажглись недобрые огоньки.

— Ну, — сказал я, — вы таких и не видали.

— Почему ты знаешь, что я видал и чего не видал? .. — он посмотрел на меня с превосход-

ством. — Я такое видел, в этом смысле, что тебе и не снилось. . . Так красивая, говоришь?

— Да, — сказал я твердо, — красивая!

— Приложим усилия, — сказал Вейсман важно, как президент, — только бы не подвели с обратной машиной. Готовсь, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза!

И он сунул мое письмо в карман, как суют измятый носовой платок.



тот собачий пень портил нам с Лешкой линию нашего участка, его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго, срубить корневище лопатой было очень трудно. Лешка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что, когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнем его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде. Вообще я никогда не думал, что ватник может так быстро износиться и продырявиться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прямо не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замерзший. Я был всегда и везде замерзший. Снизу доверху, и вдоль и поперек, и внутри тоже. Согре-

вался я только тогда, когда непрерывно махал лопатой, вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Еще я согревался ночью в избе у тетки Груни и дяди Яши. Славные были они люди, и тетка эта и дядька. Жаль только, что мы не успели еще толком познакомиться, — две-три раскуренные в дружелюбном молчании самокрутки, вот, пожалуй, и все. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко. Темнота, теснота, оделись, пошли. Лопаты, лопаты, лопаты. Земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но все-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке враспояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:

— Бей фрица, и больше ничего!

И уходил, прямой, с чахлой бородкой, — ну пророк и пророк.

Он уходил еще раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына, война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе, — словом, все как полагается...

Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котенок, мальчонку. Мы давали Ваське хлеба и сахару. Тетка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери — делился, значит, угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались,

чтобы не видеть всего этого. Потом мы уходили, напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел васнецовскую Аленушку, Дуню Табарину, я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же, милая, сказочно красивая девочка, с красными ознобленными руками.

В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контрэскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе всех нас сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прет, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Шалишь, фашистская морда, не тут-то было, не пройдешь! Танки их растерянно тычутся вправо и влево, — шутка ли, перед ними неодолимое препятствие, они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнем! Они валятся во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть, и благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы...

88 ...Но пень покамест портил мне все дело. Он все-таки заставил меня скинуть ватник, в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но, сколько я его ни пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрывать его еще немного. Недалеке, немногим пониже меня, копошились Лешка с Тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михалыч с Сережкой Любомировым, и у них тоже были успехи, а я все еще возился со своим Берендеем. Я стал

сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнина и страшный, как леший. Я выкинул две-три лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня и увидел, что пень пошел. Он наклонился вперед всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувыркнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жесткий кабаный бок и подпихивая его. В двух шагах подо пнем, спиной к нему, стоял на четвереньках Лешка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую он понесется вниз стремглав, страшный как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лешка все еще возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я пре-возмог наваждение и крикнул:

— Лешка! В сторону! Берегись!

Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и тут же встал.

А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лешка 89 подбежал ко мне. Он спросил:

— Сломал?

Я сказал:

— Не знаю.

Вокруг уже было много народу. Степан Михалыч положил мою кисть на свою широкую ладонь.

— Нет, — сказал он, — не сломал, нет.

— Растяжение, — сказал Тележка.

— Вывих...

— Теперь тебя отправят...

— Не работник, ясно.

Стоявший неподалеку Каторга, вытянув шею, каркнул:

— Это он сам над собой сделал, самострел клятый...

Лешка погрозил ему кулаком.

— Позовите Сему, — сказал Байсеитов.

Сереза Любомиров сказал:

— Сейчас.

Но кто-то уже вел Сему. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он расклейщик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.

— Ну-ка, — сказал Сема, — покажь.

Он погладил мой палец осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.

— Этот палец, — сказал Сема важно, — этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.

90 Лешка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лешкино сердце. Сема взял мою руку и сказал убаюкивающе:

— Закрой глаза.

Я закрыл, но не сдержался. А Сема сказал, отходя:

— А зачем орешь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.

Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он расклещик. Палец хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а все-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!

Я пошел к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:

— Это как же вышло?

Я рассказал ему. Он рассердился:

— Испугался, значит, за дружка?

— Да.

— Он бы сам отбег. Надо бы тебя на губу или судить как дезертира!

Я сказал:

— Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичова?

— Брось, — сказал он жестко, — не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому черт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Вальяй, значит, лодыря, через свои нервы. — Это он в насмешку так сказал — «нервы» и покривил едко губы. — Но завтра выходи на трассу! Не сможешь — отправлю. Иди.

Он отвернулся. Ишь ты какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нервы». Я шел от него, проклиная все на свете.



Здравствуйте. Что не на работе? Она окликнула меня из своего проулка, когда я шел от Бурина злой как черт. Я шел к нам в избу, к тетке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел ее. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте; если честно подходить, они и пятки ее не стоили.

Я сказал:

— Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец...

Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня — это ландыш.

— Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.

— Ну да, — сказала она заботливо, — зайдем-ка до нас.

Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у нее никого не было. Против печи шкафчик со

стеклянным верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделен занавеской, — видно, там стояла кровать. Еще там была скамья, старая, серо-белая (я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева).

— Садитесь, — сказала Дуня, — я сейчас.

Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила — ноги слона и торс юной балерины и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики ее согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая ее головка с недлинной косой, и неслыханной красоты лицо — все это брало за душу, и славно становилось жить подле нее, как-то доверчиво и любовно.

— Вы сами московский будете? — спросила Дуня.

— Московский.

— С матерью живете?

— Один.

— Что так?

— Она умерла.

— Ах ты... давно?

— Год уже...

— Отчего она, бедная?

— У нее болезнь была... тяжелая... Она в больнице лежала.

— В больнице?

— Да.

— Плохо в больнице лежать...

— Это все от людей, какие люди...

Я сам не знаю почему, мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:

— Я один раз был у нее в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошел. И когда я пришел, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый... Ему все можно. Например, резать правдumatку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришел, и дожидался очереди, и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший...» Слышите, Дуня? «Любезнейший» — в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом «любезнейший»?

94 — За этим словом стоит, что доктор сволочь, — сказала Дуня. Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело.





Я вообще не очень-то любимый стал в последнее время, но странное дело: я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно — можно, она меня поймет так, как я хочу быть понятым.

— Ну, а дальше-то что? — поторопила меня Дуня.

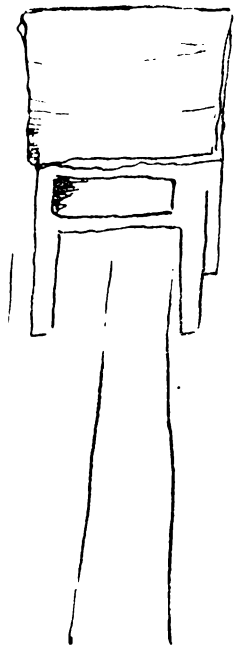
Я сказал:

— Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.

— Это что ж за исход такой? — спросила Дуня.

— Летальный? Это смерть. От слова Лета — река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошел в палату, сидел у матери и держал ее руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно, и видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило...

— Как это все тяжело и при-
скорбно, — грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у нее стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо: — А батя ваш где?



Я сказал:

— Отец погиб на Хасане. Он герой.

— О господи, — сказала Дуня, — значит, вы сирота?

Я сказал:

— Да.

Она задумалась.

— Круглый, значит, сирота. — Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнейшего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала: — Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?

— С двадцать второго. А вы с какого?

— Угадайте.

— С двадцать второго?

— Что вы? Неужели я выглядываю на с двадцать второго?

Она обиделась, вот история! Я сказал:

— Ну, с двадцать третьего.

Она сказала недовольно:

— Конечно, теперь будете перебирать по одному.

— Я не умею угадывать!

Она улыбнулась:

— Молодой еще.

Я сказал:

— Так с какого же вы, Дуня?

Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:

96 — Я с двадцать четвертого!

— Ну да? — сказал я. — Значит, вы маленькая?

— Семнадцать годов — маленькая?

— Ну не грудная, конечно, но все-таки маленькая. Очень молодая...

— Самые года.

Я сказал:

— Конечно! Невеста!!

— Не смейтесь!

— Нет, — сказал я, — я не смеюсь. А сватались? Только честно!

Она притворно зевнула:

— Глупости это все. Учиться надо.

— А на кого?

— Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.

— Хорошее дело, — сказал я. — Я тоже ребят люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щенят. Ну а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.

Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.

— Вот вам и надо сто ребят завести, своих. А вы холостой?

— Да... Я холостой...

— Что это вы как будто сомневаетесь... Можете, неправда?

— Нет, нет, что вы. Я холостой.

— И никого нету?

— Где?

— Ну, на примете?

— Ох, так нельзя.

— Почему же?

— Ну, нельзя... А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?

— Я?

— Да. Вы.

— Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала, а если б я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела...

— От кого?

— От вас. Да что вы все на меня-то повернули?..

— Я не сворачивал... Дуня, мне, пожалуй, идти надо...

— Куда же вы так быстро? Поговорите еще со мной.

— А про что?

— Да про что хотите, мне все интересно. Хоть про книжки...

— Да про книжки что ж рассказывать, их читать нужно. Вы что читали?

— Я? Много кой-чего... Ну, Толстого читала «Анну Каренину», Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхина «Красные дьяволята», — много вообще... «Железный поток»... Это Станюковича...

— Серафимовича...

— Ой да, Серафимовича...

— Ну а что больше всего понравилось?

— «Анна Каренина», конечно. Ах, бедная, несчастная... Я всегда слезами обливаюсь, когда она с сыночком своим виделась. Несчастливая Аннушка, красавица, а несчастная.

Я сказал:

— Да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.

— Нет, — живо сказала Дуня, — это хоть и книжка и про старое время, а все-таки так было. Это жизнь. Так в жизни бывает. Это все про жизнь.

— Дуня, — сказал я, — Дуня, ты просто я не знаю какая!

Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.

— Понравилась? — сказала она.

У нее было радостное лицо.

— Выше макушки, — сказал я с таким видом, что шучу.

— Сватайся! — сказала она.

Я сказал, но не сразу:

— Война.

— Да, — задумчиво сказала она, опустив руки, — война! Не можешь ты свататься. Скоро вас под присягу повезут.

— Это как? — у меня забилося сердце.

— Так. Привезут знамя, и под присягу — и все. И на фронт.

— Дуня, вы это серьезно или так? Неужели правда?

— Да вы чего всколыхнулись-то? Ай на фронте сладко?

— Слаще, чем здесь.

Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно: 99

— А кто же с нами будет? С бабами и с дев-

ками да́ с малыми ребятами? Ведь мы бьемся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит; разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла, да и сейчас с души воротит от дурного слова, а вот поди ты... А где мои папаня с братом? А, вот то-то... Мы с матерью работаем, а у ней кила, разве ей можно? Значит, все я да я. А тетка, она придурок, все с сектантами шушукается, кто ей мозги вправит? Опять я? Да она меня так шуганет, что я и костей не соберу! Вот... А вы все на фронт тянетесь, души у вас нет.

Она с досадой задернула марлевою занавеску. Рука у меня успокаивалась, она пульсировала ровно и болела сладко, выздоравливала. Я подошел к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.

— Осерчал? — сказала она тихо.

— Нет, — сказал я, — нисколько.



никогда еще ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко.

100 Такое еще ни разу в моей жизни не случилось. Не рассказал бы я этого Вале, — внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным,

но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь все-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня... Но это редко бывает, я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, еще в пятом классе. Мы выходили после школы на бульвар, она заставляла меня прятать руки за спину и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии двух шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы, и, приблизившись, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это все детство... Какой это роман.

...В избе у тети Груни было пусто и неудобно, я даже пожалел, что так быстро ушел от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу, сбитая, старая, в комнате стоял наш знаменитый ополченский запах, воздух был синий от невыветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахара; они лежали у меня в кармане, я еще утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твердые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахара, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтер мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был

одет. Подошел ко мне и приткнулся у колена, искательно погладил мой сапог.

— Ты, Митька, всегда носи мне сахару, — сказал он.

— Ладно, — сказал я, — а где мама?

— Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.

Я взял его под локотки и поднял эти полфунта ребрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его включенную головенку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок, — не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах. И я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи, у холодной печи, то чего же я здесь сижу, надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заняла гордость и долг застучал кулаком в сердце.

102 За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить ее, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день проваландался с пальчиком. Как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и уставился на меня. Я сказал:

— Большая приборка! Свистать всех наверх!
Эй, на юте! Пошевеливай! За мной, Василь Яклич!

И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу знал. Я подмел пол, принес свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугуны воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть, и кашу или консервы. Мы долго возились с Васьюкой, и он все время помогал и шлепал за мной маленькими ножками и стучался об углы. Я вытер ему сопливый нос, пригладил всклоченные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним подружились. Я решил прилечь и подождать, уложил Васьюку на кровать, а сам лег на солому и, как только лег, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся оттого, что Лешка укладывался со мною рядом.

— Это ты, Лешка?

— Ага, — сказал Лешка. — Болит рука-то?

— Утихает...

— Что ж ты не ужинал?

— Проспал.

— На вот хлеб. Освободил Бурин-то?

— Ругался. Судить бы, говорит, тебя как де-зертира!

— Плюнь. Это он сгоряча. А ты думал, меня раздавит пнем?

— Он уже начал переваливаться на тебя.

— Что ж руку-то не выдернул?

— Да не успел, черт его знает.

— Я теперь должен тебе отплатить!

— Спи, друг.

— Да. Это так, я тебе друг, запомни.

— Так и я тебе друг. Так и знай.

Лешка придвинулся ко мне еще ближе.

— Слушай, — сказал он. — Сережка-то прямо спятил. Бежать хочет в Москву.

— Не может быть!

— Сражаться надо, — спокойно сказал из темноты Сережка.

— Ты не спишь? — спросил я.

— Я все ночи не сплю!

— Это не дело!

— А ты не учи! Не учи ученого!

Я хотел ему ответить как-нибудь порезче, но в это время что-то завывало, загудело, и страшный нарастающий визг пронесся над нами, как будто ведьма на помеле пролетела, потом ужасно трахнуло, дом наш зашатался из стороны в сторону, и в глазах его послышался треск.

— Бомба! — крикнул с постели дядя Яша. — Васька, ты где? . .

Васька откликнулся ему, тетя Груня заплакала и запричитала в темноте, а мы повскакивали с соломы. Кто-то чиркнул спичку, мы стали одеваться, толкаясь и хватая чужую одежду.

— Пойти взглянуть, — сказал Степан Михалыч в случайно образовавшейся паузе.

Его голос подействовал успокаивающе. Стало тише, люди, уже не теснясь, вышли на улицу.

104 Было темно. На горизонте пылало зарево.

— В лес, что ли, упала, — сказал дядя Яша. — Но то не эта, нет. Больно далеко. Горит где-то

около Боровска. Видно, фриц за Боровск взялся терзать. А если он его возьмет, нам всем хана!

— Это почему же? — зло спросил Сережа Любомиров.

— Отрежет, — просто сказал дядя Яша, — отрежет, и нету нам никакого пути. Если только левее, на Наро-Фоминск. Ну, так и фриц, коли он Боровск возьмет, неужели он Наро-Фоминском погрэбаает?

— Не каркай, дядя Яша, — сказал Тележка, — как вы это все любите в хате сидя располагать.

— Думать надо, умом надо своим пользоваться, — сказал дядя Яша, — и тогда картина сама себя окажет.

— Наполеон, чисто Наполеон, — сказал Бибрик.

Киселев тяжело дышал, слышно было, как он скребет свою щетину.

— Стой не стой, завтра рано на работу, — сказал Степан Михалыч, — наша война продолжается.

Он пошел в избу. И все пошли за ним. А я пошел на деревню. Спать не хотелось, вот что было странно. Ну да я ведь поспал уже часа три. Почти норма. Я перешел через мостик, и он опять пугливо задрожал под моими ногами. На этой, штабной, стороне, было как-то еще тише и спокойнее, и люди, которых я встречал, все держались спокойно, а если и были встревожены, то друг перед другом этого не показывали. И я подумал, что надо бы мне пройти мимо Дуниного дома, — мало ли что, может, я им понадобится.

Как только я вышел в маленький проулок, так сразу от забора отлетела легкая тень, и Дуня прильнула ко мне.

— Испугалась? — сказал я. — Дунечка ты моя, маленькая.

— Испугалась, — сказала Дуня и вздохнула прерывисто, по-детски, — ужас как испугалась. Я в амбарушке спала, там у меня жаровенка есть, а он как тарарахнет — ну, думаю, конец света...

— Нет, это еще не конец, — сказал я, и мне стало тоскливо. — Много еще будет бомб, надо привыкать...

— Холодно, — сказала она и повела плечами. Я сказал:

— Пойдем, провожу.

Мы пошли с ней в глубь проулка, вошли к ним во двор, и я увидел, что слева от ворот стоит крохотный нахохленный домик, просто как декорация, такие строят у нас в Сокольниках под Новый год для детей.

— Вот здесь и сплю, — сказала Дуня и открыла дверь: — Входи.

Там были нары или скамья, прикрытые какими-то дерюжками и веретьем, и красным раскаленным глазком смотрела маленькая железная жаровенка, похожая на керогаз. Дуня села на скамью, в красном призрачном свете были видны ее таинственные глаза.

106 — Как хорошо, что ты пришел, — сказала Дуня, — я так хотела, чтобы ты пришел.

— А я стоял на крыльце с нашими, смотрел,

где бомба упала. А потом все пошли спать, а я сюда.

— Само потянуло?

— Само...

— Сердце сердцу весть подает... Садись, что ты...

— Да я не устал, ведь я не работал.

— Садись со мной, — сказала Дуня.

И я сел с ней рядом. Она положила свою руку в мою, и долго мы так сидели с ней, и я держал эту милую руку и глядел на эти несказанные глаза, на жемчужные зубы несмело улыбающегося рта...

— Ну а если бы не война? — вдруг сказала Дуня.

— Что?

— Я говорю, если бы не война, а вот мы с тобой встретились и тебя бы сюда тянуло, как сегодня, а меня к тебе. Вот если бы можно нам было, ты бы посватался ко мне?

Как она сказала это слово «можно»! Я сегодня все время думал, что вот с тобой мне все можно. Болтливым быть или даже глупым, молчать или хромать, заплакать тоже можно, — все можно. И насмешек не будет, и зла за пазухой не будет, и оглядки и фальши не будет, нет.

— Что молчишь-то? — сказала Дуня. — Не сватался бы, значит?

Да что я, каменный? Кто же это выдержит. Ведь все равно мне с ней нельзя, по десятку причин, но зачем же обижать — ведь лучше ее нет в целом свете, и потом ведь это правда.

— Посватался бы, — сказал я, — еще как. Семьсот верст пешком бы к тебе бежал.

Она придвинулась и прильнула ко мне и положила мне голову на плечо, и я почувствовал ее маленькую твердую грудь.

— Ты девочка, Дуня, — сказал я. — Ты маленькая. Нельзя тебе стать сейчас моей женой, война раскидает нас завтра, как пылинки, в разные концы...

Она заплакала, я погладил ее лицо и омыл пальцы ее слезами. Я понимал, что наш с ней разговор в этот странный час, при свете маленькой жаровни, это и есть высшее счастье нашей жизни, какого я, может быть, никогда уже не достигну, и горячая тоска давила мне на горло, не давала биться сердцу.

Дуня говорила, глядя в окно и сложив руки на груди, и слезы все бежали по ее лицу.

— Возьми меня с собой! Ведь я, Митя, не вдруг это говорю. Я как тебя в первый раз увидела, тогда, с товарищем твоим, когда ты мне телегу поднял, я тогда сразу поняла, что ты верный человек. Не умею сказать... Ты верный человек, это по лицу видно. Детей как хорошо любишь... Вон ты какой... Мне без тебя нельзя здесь оставаться. Кто защитит? Как подумаю о фрице, как подумаю...

Она это так говорила, что лучше бы вынула из жаровни уголья и прожгла бы мне глаза...

Я сказал:

— Не плачь, Дуня, родная моя...

Она потянулась ко мне, и я обнял ее и поце-

ловал, и она тоже меня поцеловала, и время летело мимо нас, и я все целовал Дуню, ее маленькие твердые ручки, и губы, и шелковые мокрые ресницы, и ситец на ее коленях целовал, и это было лучшее, что я испытал в своей жизни.

...Я ушел от Дуни за час до пробуждения. Она плакала беззвучно, и все не отпускала меня, и еще, и еще целовала. Я ушел от нее в ту ночь. Я не сделал ее своей женой. Я любил Валю.



тром приехал Вейсман. Он очень осунулся. Когда он стоял над нами на гребне, было видно, какой это старый и больной человек. Лишняя кожа свисала с его лица. Стоя на ветру в вытертом своем «цивильном» пальто и качаясь от ветра, Вейсман сказал:

— Шоссе обстреливают насквозь. Я отдал Климова в больницу и позвонил его родным. Плачут. Я говорю: как вам не стыдно, надо радоваться, парень в больнице, уход как за графом. Вы плачете не по нем, говорю я, вы плачете по мне, мне еще обратно ехать. Никакого впечатления... Между прочим, я заезжал в райком, скандалил насчет махорки. Они мне стали вкручивать, что через неделку, и пятое, десятое, но, когда я взял их за грудки, сразу нашлась пара ящичков.

Внизу восхищенно засмеялись. Старый враль никого не мог обмануть, но все-таки приятно было представить, что Вейсман кого-то там мог брать за грудки. И потом он привез махорку! Ванька Фролов, больше всех страдавший без курева, подбросил в воздух монету:

— Мировой старик! Жук, а не старик! Докладывай дальше.

— Еще в райкоме говорили, что скоро сюда придут боевые части нашей армии. Они здесь займут оборону. И может быть, нас тоже вооружат...

Сереза Любомиров крикнул коротко:

— Ура!

И еще раз:

— Ура!

Вейсман поклонился, как будто это он приведет сюда Красную Армию и выдаст нам оружие. Отойдя в сторонку и поймав мой взгляд, он деловито кивнул мне. Я взлетел кверху.

— Не волнуйся, — сказал он и положил мне руки на плечи, — я все сделал.

— Ну?

110 — Я ее видел, хотя мне это было дьявольски трудно устроить, — старик набивал себе цену, а мне было стыдно его доброты, и набивать ничего не надо было. Просто это был геройский старик. — Я ее видел, — сказал Вейсман, — хорошенькая, ничего не скажешь. При титечках и все такое... Но ты не расстраивайся... — Вейсман отошел на шаг, чтобы мне удобнее было падать. — Она сказала: ответа не будет.

Удивительно, что я это знал раньше. Никакого впечатления это известие на меня не произвело. Провожать — неудобно. На письмо — ответа не будет. Вот так. Вот так.

Вейсман смотрел на меня с мудрой проникновенностью.

— Да, — сказал он, — такие вещи убивают. Тут не до слез. Я все это хорошо помню. Что мне тебе сказать?

— Вейсман, — сказал я ему, — милый ты человек. Спасибо за хлопоты.

— Иди, сшей себе шубу из твоего спасибо! — закричал Вейсман грубо.

Он, видимо, был растроган. Неловко пятясь, он задрал полу своего пальто и полез в карман.

— На, развеселись, — вот тебе письмо! Какой-то обормот подошел, когда я говорил с твоей красоткой, — симпатичный такой обормот, в очках, толстый как боров.

— Федька! — сказал я и вырвал у старика клочок бумаги, сложенный пакетиком.

«Друже! — это были ужасающие каракули. — Во-первых строках сопчаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю, а второе — огромная новость: я иду на фронт. Как говорится, следую примеру лучших, читай — твоему! Приедешь в Москву живой, позвони моей матери. Она будет знать, как и что. 111

Жму. Твой Федор»

Я сжал эту бумажку, как Федькину руку, и мне захотелось повидать его. Я спрятал Федькино письмо в нагрудный карман и начал спускаться вниз. И тут я услышал их снова. Они летели звеном, прямо над нами. Широкие кресты лежали на их фюзеляжах. Когда они пролетели, у одного из них из брюха выпала какая-то масса. Я подумал — бомба, но цвет и форма были непохожими на бомбу. Все вокруг застыли в ожидании, подняв головы кверху. Масса, оторвавшаяся от самолета, вдруг рассыпалась на тысячи мелких, величиной с игральную карту пластинок, и эти пластинки, кружась, планируя и вертясь, стали снижаться.

— Листовки, — сказал кто-то.

Они летели, колеблемые ветром, отравленные эти листки, они летели в нашем подмосковном небе, фрицевские самолеты улетели, оставив в воздухе эти вонючие бактерии. Они низвергались на нас, потом ветер отнес их в сторону, и они осыпались на оголенный угрюмый лес. Один из листков упал шагах в двухстах от нас. Сережка Любомиров кинулся к нему. Мы следили за ним. Он возвращался, держа двумя пальцами сероватый листок. Лицо его было



ужасно. Взглянув в текст, как бы опасаясь осквернить свои глаза, он произнес прерывающимся голосом:

— Массами к нам перебегайте!

И тотчас бросил листок наземь. Потом Сережа Любомиров резко размахнулся и с ужасающей силой рубанул бумажку лопатой, как живого и ненавистного врага. К нему подбежал Лешка, и оба они, Сережка и Лешка, стали мочиться на этот листок.

В это время снова послышался вой его мотора, и мы увидели, что вдоль вырытой нами линии на небольшой высоте летит фриц. Он летел как мог медленно и низко, и снова мы стояли задрав голову, а он пролетел и превратился почти в точку, но развернулся и опять пошел по линии, снизившись до бреющего полета. Он выпустил короткую очередь, никого не ранил, но, когда пролетел, мы высыпали наверх и кинулись к деревьям. По двое, по трое вцеплялись мы кто в осинку, кто в ольху, стараясь слиться с ними и оберечь себя. Фриц снова пролетел по трассе.

— Фотографирует! — крикнул Тележка с отчаянием.

Мы стояли бессильные, держась за стволы подмосковных деревьев, ища у них защиты, замерзшие и не-

113



навидящие. Фриц же по-хозяйски летал над нами, делал что хотел, изредка постреливая для острастки, чтоб мы не смели носу высунуть из лесу. И такой дул стылый, проклятый ветер, и так мы замерзали без движенья, и такое горькое отчаяние вцепилось в наши сердца, что в эту минуту уже не верилось ни во что хорошее. И тут из леса на гребень наших контрэскарпов с громким посвистом выбросился Каторга. Он разорвал на себе ворот, двумя руками сдернул с головы шапку и что было силы шлепнул ее в грязь.

— А ну, больше жизни, лопатные герои! — закричал нам Каторга. — Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем! — и он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных бечевками бутс. — Что?! Или мы уже не советские?! А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего дерьма?!

Он вложил в рот два стянутых в кольцо пальца, дико свистнул и забил ладонями по груди и бедрам.

— Алешша-ша! Держи полтона ниже! — крикнул он в небо. — Заткнись там, подонская морда! Да здравствует Евгений Онегин!

Он заплясал в грязи, этот чертов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом, заплясал с ужимками и «кониками», по всем правилам одесского шика, и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной. И мы словно опомнились, скинули наваждение, словно обрели себя, мы кинулись все на гребень и пошли плясать всею ватагой, смеясь

и толкаясь и размахивая руками, как малые дети. Мы жили, жили, жили так, как считали нужным, мы жили своим законом под обстрелом фашистского гада. У нас в руках были только кривые затупленные лопаты, а вот же мы знали, что мы сильнее того растленного типа там, наверху, куриное сердце которого позволяло ему бить в безоружных.

18. В

обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Сережку с Лешкой. Они должны были принести из кухни обед. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе, Васька еще не появлялся, — видно, заигрался где-то с ребятами, я скучал по нем. Ни тети Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лешка освободил меня сегодня от очередного дневальства и не в очередь пошел за щами. Рука моя все-таки давала себя знать, и на работе я еще ворочал с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечно ровную линию наших контрэскарпов, их трехметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и заливанные закраины, — работа была отличная, мы сознавали это и гордились своим трудом. Все это

было еще более приятно и потому, что вейсмановская версия подтвердилась и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных нами рубежей. Да, время придти нашим, самое время!

В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идет Лешка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна, и он широко улыбнулся и кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки.

Я сказал:

— А Сережка где?

Лешка мотнул головой:

— Следом идет.

За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лешке и сказал, улыбаясь:

116 — Ну, кажется, наши пришли!

Лешка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно, пер-





вая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не дойдя до нашей избы метров пятнадцать, развернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола ее пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага нашего штаба на той стороне взлетели кверху щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверно одновременно с Лешкой, увидели черный крест на боку танкетки — такой же мы видели на фюзеляжах самолетов. Все это происходило очень быстро и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел автомат. Мы замерли. Фашист шел к нам. Навстречу ему бежал через мост Сережа Любомиров. Он что-то кричал скривленным набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него, — глаза его ничего не выражали, они были тусклые, задернутые пленкой, как на плавленном олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента.

Серезжка бежал на немца, и, когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое та-та. Немец отступал, пятился, а Серезжка все бежал на него с лопытой, но я уже видел, что Серезжки нет, что он уже мертв, что это бежит одна неутомимая Серезжкина ненависть, которая не умирает.

Лешка схватил меня за руку и дернул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли на землю.

— За огород, — прохрипел Лешка, — под плетень, а там вырвемся.

Я пополз за его сапогами по мокрой, грязной земле, а позади слышались выстрелы; пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли, не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей, они собирались сейчас похлебать горячих щей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнем, а мы с Лешкой все ползли, проползли под плетень и еще ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через пятнадцать мы достигли леса. Мы остановились. Я сказал:

— Откуда, откуда они?

— Десант, верно, — сказал Лешка, — перелетел, гад. Целый месяц строили. А он и воевать не стал... перелетел и высадился. Опоздали наши-то...

118 Лешка задергал губами и заплакал.

— Пойдем, Леша, — я тронул его за плечо, — надо отходить.

Он пошел за мной покорно, как мальчик, и огромным, грязным своим кулаком утирал глаза. Надо было спасаться, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места, — в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами у домика с красным флагом.

Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоем с Лешкой и ревели. Я ковылял впереди, Лешка за мной. Мы шли напрямик через лес примерно с полчаса и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней.

— Что теперь? — сказал я. — Дальше что?

— Кабы знать, куда идти.

— Ищи дорогу, — сказал я, — ищи, Лешка.

— Надо искать, да, — сказал он, — а то залпуем, как бы в обрат не наскочить...

— Левей надо.

— Верно, и я так помню. Там много дорог должно сходиться, помнишь? Когда сюда шли, я запомнил.

А я ничего не запомнил, я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал:

— Теперь ты иди впереди, Лешка.

Он прошел мимо меня вперед, и я побрел за ним.

Ах, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идешь не по своей

воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти, никому не пожелаю, трудно! Но мы шли, нужда гнала. Мы шли напролом, продираясь сквозь подмосковный подлесок, сквозь темные группы молодых деревьев, стоящих густо, непроходимой стеной. Исцарапались мы, еще больше изодрались и плутали, но был у нас все-таки какой-то собачий нюх, да и сама земля, наверно, помогала, — ведь мы были ее дети, и минут через сорок мы все-таки выскочили на дорогу.

— Смотри-ка, никого, — сказал Лешка.

Он посмотрел на меня, и я понял, о чем он думает... Я и сам этого боялся.

— Неужели мы одни? — спросил я у Лешки. — Неужели мы одни ушли?

— Прямо не знаю, — сказал он упавшим голосом.

— Может, постоим немного?

— Дай освоиться, — сказал Лешка.

Мне почудился треск сучьев.

— Тихо! — сказал я шепотом. — Идут!

— Фриц?

— Не знаю...

— Прячься...

И Лешка зашел за огромную ветлу, стоявшую у дороги. Мы спрятались за кривое двуствольное ее тело.

— Не может быть, чтоб фриц, — шепнул Лешка.

Треск становился все сильнее, ближе к нам, и противно было то, что у меня забилося сердце. Но я решил, что, если это фашисты, я брошусь к ним навстречу и хоть одного да задушю. Среди деревьев замелькали какие-то силуэты, и я увидел ватники. Лешка перевел дыхание, — наверно, и он переживал. На дорогу вырвались люди. Это были Степан Михалыч, Каторга и Тележка.

— Вот она, дорога, — сказал Степан Михалыч. — Сейчас определимся, что и как. Не робь, Телега.

— Москва где? — жадно спросил Каторга.

Степан Михалыч встал на дорогу и резко рубанул рукой куда-то наискосок и вправо.

— Вот, — сказал он, — так держать, и будет тебе Москва.

Мы с Лешкой вышли из-за ветлы.

— Смотрите, товарищи, Митя, — сказал Тележка и нежно улыбнулся, — Митя и Леша. Наши.

Мы подошли к своим. Мы молчали — они трое и мы с Лешкой. Мы только смотрели друг на друга. Как будто десять лет не виделись. Я чувствовал, что все сейчас плачут.

— Вот оно как вышло, — сказал Степан Михалыч виновато.

— Да, — сказал я, — хуже не бывает.

— Сережка-то... — сказал Лешка и отвернулся.

Все замолчали. словно сняли шапки у свежей могилы. Степан Михалыч двинулся первым. Мы пошли за ним. 121

— Наших там тыщи три осталось, — сказал Тележка.

— Больше.

— Уйдут! Многие ушли, многие вырвутся.

— Где ж они?

— Прячутся...

— Или другими дорогами идут...

— Тут кто как сможет, — сказал Каторга.

На дороге, по которой мы шли впятером, было пусто, и лес стоял сквозной и пустой, и небо было пустое. Стрельба позади прекратилась, и это был плохой признак.

— Всё. Видно, заняли Щеткино, — сказал Степан Михалыч, — теперь полетится наша кровь...

— Пойдут теперь расправляться... Коммунистов искать... — сказал Лешка.

— И не коммунистов тоже, — сказал Тележка.

— Коммунистам хуже всех, — повторил Лешка печально, — у меня отец коммунист, и брат тоже.

— Теперь и не узнаешь, кто коммунист, кто нет, — процедил Каторга.

Степан Михалыч остановился и поглядел на него в упор.

— Я член партии непобедимых коммунистов, — громко сказал Степан Михалыч, и губы его побелели, — я член партии, и ты можешь называть меня комиссаром, Каторга.

Он отвернулся и пошел дальше. Мы двинулись за ним.

Каторга перегнал его и заступил дорогу.

— Каторга да Каторга, — сказал он тихо, —

сколько можно? Какой я Каторга, я Гришка Полещук! Я вас очень уважаю, Степан Михалыч.

Тот двумя кулаками расшебаршил свою бороду.

— Пойдешь со мной, Гриня, — сказал он Каторге, — и ты Телега, пойдешь со мной. Нельзя мне вас всех вместе вести, а вдруг да я что и не так сделаю. Не туда вас заведу. Пусть мы разделимся.

— Нет, мы вместе, — сказал я.

— Это мой приказ, — сказал Степан Михалыч, — теперь пришло расставанье, Митя. Мы трое вон там пойдём, — он показал направление, — на Боровск, мы будем его огибать справа и, может, выйдем на железную дорогу. А вы, Митя с Лешей, вот здесь идите, — он и нам показал, где бы нам, по его мнению, лучше было идти. — Вы всегда вместе, вы дружки, вам вместе надо. Теперь: в Москву придете, вступайте в армию, ребята, добровольно идите. Вы теперь народ подготовленный. Ну, все. Два, значит, у нас отряда во временном отступлении. Всего вам, ребята!

Он протянул мне теплую, согретую добром руку. Я пожал ее. Прощай, Ячмень и Лен! И если навсегда, то навсегда прощай. Тележка протянул мне свою узкую руку, я взял ее и покрыл сверху левой рукой. Он тотчас же положил свою левую руку на мою. Мы трясли так руками, смотрели друг на друга, что-то хотели сказать друг другу и не смогли, постеснялись.

— До свиданья, — сказал Тележка.

— До свиданья, — сказал я.

Потом я пожал корявую руку моего товарища Гришки Полещюка, — грязную корявую руку человека, которого мы несправедливо дразнили Каторгой. . .

Лешка простился тоже. Они пошли по большой пустой дороге к далекому горизонту, а я смотрел им вслед и понимал, что это уходят из моей жизни люди, без которых мне никогда не будет вполне хорошо.

— Айда и мы, — сказал Лешка.



Мы шли с ним скорым приемистым шагом по огромной разметанной дороге, тянущейся сквозь низкий красновато-серый осинник. День перевалил на вторую половину, грязь на дороге уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче, и мы прошли уже верст шесть или восемь, не встретив ни одного человека.

— Где теперь наши? — сказал Лешка.

— Какие?

— Кто вышел оттуда.

— Плутают. . .

— Повидать бы. . .

— А может, кто-нибудь сзади идет, кто позже добрался до дороги.

— Покричим?

124 Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся.

Мы были одни с Лешкой. Словно одни во всей

России, — так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперед и сворачивали у развилков, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту, они не ошибаются никогда.

— Такому человеку, — сказал Лешка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются и все другие тоже.

Я сказал:

— Да. Сереге надо памятник.

— Приду домой, — сказал Лешка, — доберусь только до дома, мать повидать, и спать не лягу, побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут... Теперь люди нужны. Верно?

Я сказал:

— Верно.

Лешка посмотрел на меня и понял.

— Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?

Я сказал:

— Гроб дело. Меня не возьмут.

Несколько минут он молчал, потом зашел ко мне слева и горячо заговорил:

— Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти, вот куда!

Я посмотрел на Лешку. Это было как озарение. 125
Как я сам не додумался до этого?

Я сказал:

— Ты, Лешка, бог!

— Верно? — Он как будто даже удивился похвале. — Значит, пойдешь? В партизаны, да, Митя?

Я сказал:

— Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я это сам недотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идем?

Лешка сказал:

— Факт. Возьмут, не бойся. Мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки как камень.

Он просто лечил меня, этот парень.

— Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже как медведь здоровый. Мы с тобой так возьмемся, мы такое ему устроим! У него и правда под ногами земля загорится.

Ну и здорово же он говорил, Лешка Фомищов, — златоуст, ничего не скажешь. Я даже засмеялся от удовольствия.

А он продолжал:

— И мы с тобой еще до победы доживем, увидишь! Она скоро будет, не думай! Это он временно прет, на шарапа берет, а мы еще не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберет, да, Митя?

Я сказал:

— То есть конечно!

126 — Вот, — сказал Лешка удовлетворенно, — мы его добьем, а потом вернемся домой и будем жениться...

Я сказал:

— А на ком? У тебя есть?

Лешка засмеялся и стал смотреть в сторону.

— Есть одна.

— Как звать?

— Таська! — сказал он и улыбнулся снова.
У него улыбка была замечательная, добрая очень.

Я сказал:

— Что ж ты невесту так называешь несолидно — Таська!

— Какая ж она невеста. Она в седьмом классе. Таська и есть!

— Ну да? — я очень удивился. — Она что, школьница? А как же она согласилась?

— Она не соглашалась, она и не знает даже ничего...

— То есть как не знает? Чего не знает?

— Ну что я на ней женюсь!

— Как же она не знает?

— Ну не знает, и все. Это я пока один решил. Я ее заметил и решил.

Я сказал:

— Ну ты и ловок. Прямо чертов сын!

Лешка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил, и ему еще хотелось про это говорить, он ведь мальчик был, совсем мальчик.

— Вот, значит, годика через три я на ней и поженюсь!

— Ну, победа-то раньше будет, — сказал я.

— Это конечно, но я все равно подожду. Тут 127
особо торопиться нельзя, да и родители ее не отдадут раньше...

— А у нее кто родители?
— Академики какие-то...
— Значит, ты будешь тоже академик?
— Нет, куда там, мне бы хоть на инженера пока... По металлу. Ну а ты? — вдруг спросил Лешка. — У тебя тоже есть невеста?

Я сказал:

— Нет, Леша, у меня нет никого.

Не знаю, что меня заставило так сказать. Но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста.

Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-то бахнуло, и нам показало, что это поблизости. Лешка прибавил шагу. Я сказал:

— Я так быстро не могу.

Он сейчас же пошел потише и сказал:

— Я не спешу, это ноги сами.

Я сказал:

— Выйдем мы, Леша, как думаешь?

Он помолчал. Оживление его уже прошло, он понимал, что дело наше нелегкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твердо:

— Иначе не может быть.

Мы замолчали опять. Стало холодней, время шло уже к четверем. Не помню, сколько мы так шли с Лешкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились с Лешкой и стали смотреть в небо. Рокот становился все ближе, и вдруг мы увидели, что с вершины далекого неба, как на са-

лазках с невидимой снежной горы, катился самолет. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас и потом низко-низко, по-над самым леском, рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас, дерьмо.

— Беги! — крикнул Лешка, побежал вперед, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял ее и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали, я с одной стороны, Лешка с другой, и держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю, зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример утреннему: та-та-та-та-та-та. И ветер, и дерево гнется и дрожит: р-р-р, та-та-та-та-та-та. Стихает... Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук и напряжение уменьшается, слабеет, удаляется... Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше, и, выждав еще несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. Фрица уже не было. Он побаловался и пошел дальше.

Я сказал:

— Ушел, дерьмо такое.

Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лешка. Он все еще лежал на животе, так же как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, не расплывающаяся лужица. Она не бле-

стела. Она лежала, выплеснувшись вся, как в блю-
дечко. Темно-красная тусклая лужица, и это была
убежавшая из веселого Лешкиного тела жизнь.

Я не знаю, что со мной случилось и почему я
это сделал. Я, наверно, соскочил с зарубки. Со
мной случилось что-то странное. Я не знаю. У меня
все заболело сразу, опоясало, и перекрестило, и
запеленало болью. И, ощущая невыносимую боль
во всем теле и стоная от боли и плача, я припод-
нялся, подтянулся и сел, прислонившись спиной
к нашему с Лешей дереву, рядом с ним. И вот
тут-то я услышал в себе:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня. . .

Я услышал это четверостишие до конца и по-
сидел потихоньку, покачиваясь, и услышал снова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня. . .

Ничего другого я не мог делать. Я сидел так,
как самый настоящий тяжелый псих, и повторял
эти слова, наверно, пять тысяч раз подряд:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня. . .

130 Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненагляд-
ную свою Дуню, родимую свою, которая осталась
там в Щеткино, за мостиком, в своем проулке; ее
сейчас, верно, ломают, и гнут, и крутят руки, и
бесстыдно рвут ее платье, и хрустят ее косточки.

И я видел маленького Ваську, — как бьют его пахнущую воробьями головенку об угол сарая. Я видел Вейсмана, — как его сжигают живьем, и я видел распятого дядю Яшу, и лежащего на деревенской улице мертвого Сережу, и мертвую девочку Лину...

Я ничего не мог с собой поделаться. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Леша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперед перед собой и держал руку на безответном Лешкином плече, и все повторял и повторял одни и те же слова:

Он упал
На траву,
Возле ног у коня...

Я сам себя не слышал, вернее, слышал, но так, как будто я пою где-то далеко, а здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поет вдалеке.

Уже совсем стемнело, когда ко мне подошел Байсеитов. Он подошел, как будто все давно знал, постоял возле нас с Лешей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть, рыть своим ножиком землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скреб, и до меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошел к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями, и мы наконец вырыли вдвоем с Байсеитовым неглубокую овальную яму неров-

ную и некрасивую, я взял Лешу за плечи, а Байсеитов за ноги, и мы его как сонного уложили в сырую, неизвестную, ненадежную постель. Мы засыпали его землей и заложили голыми безлистными ветвями, и я опустил на колени и поцеловал эти ветви там, где у Лешы сердце, и Байсеитов сделал так же. Мы встали потом у могилы, и Байсеитов спел со мной:

Он упал
На граву,
Возле ног у коня...

Потом мы пошли по дороге вперед.



Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху, но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа два-три, над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замерзшие лужицы. Под тонкой, прозрачной корочкой льда переливалась нежным узором еще живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. На удивленные глаза.

132 Мы давно уже шли с Байсеитовым и еще не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной заполыхало кровавыми перьями пожаров и бомбы стали разры-

ваться за нашей спиной. Они прямо наступали на пятки. Видно, фриц двинулся вперед. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро, не так, как ходят в строю, а просто вовсю. Мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, — ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов десять, а впереди ничего не было — ни огня, ни жилья. Но все-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, все вперед и вперед, несмотря на то что ноги у меня опять болели и мне казалось, что они кро-воточат. Мы шли вдвоем с Байсеитовым, теперь Байсеитов был моим спутником, а Лешка отстал в пути, прилег на дороге и не догонит никогда...

— Потерять друга — счастье потерять, — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом.

Я сказал:

— Да.

Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дубленую грудь, которая не чувствовала холода.

— Обида жжет, — сказал он гортанно, — ког-тит душу, как копчик перепелку.

Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно, с укором:

— Нельзя так, слушай, так нельзя!

Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь в тяжелых сапогах, мы шли с Байсеитовым, мы шли, шли, шли, шли, без конца. Мы только с ним и де-лали, что шли, шли, шли, шли... Дорога лежала

перед нами, бесконечная ночная дорога, стылая и молчаливая, холодюга стоял собачий, ветер подывал в голых вершинах, и два десятка километров остались за нашими плечами как два десятка лет. И казалось, что конец нам, никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода, и все равно надо было идти, идти, идти и идти. После полуночи силы отказались мне служить, мне стало наплевать на все на свете, и снова боль охватила все тело. Она сжимала меня обручами, особенно грудь, и не давала мне ни вдохнуть воздуха, ни выдохнуть его. В глазах моих встало какое-то марево, оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать. Плюнуть на все и завалиться поспать. Простое желание, и я высказал его Байсеитову.

— Я посижу, Байсеитов, — сказал я, садясь. — Иди. Я догоню.

Я сел у дороги и уютно привалился к дереву.

Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал моститься у дерева.

— Встать! — крикнул Байсеитов как командир. — Встать немедленно!





Я встал пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал, и сложил руки по швам, и закрыл глаза. Меня качало.

— Открой глаза, — сказал Байсеитов, — на!

Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку из-под вазелина, она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под нее свое плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг.

— Масло, — сказал Байсеитов. Он поднес вазелиновую баночку к самому моему лицу. — Двадцать пять грамм. Паек. Я со стола ухватил, когда побежал.

Он сунул палец в банку, подковырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало свое дело. Я сказал:

— Пошли, Байсеитов.

Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул ее. Мы двинулись по дороге. Он шел впереди, и мы опять занялись с ним делом: мы шли, шли, шли... Сколько — не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу, и железный Байсеитов тоже шел неверной походкой, плечи его опусти-

лись, голова подалась вперед вместе с шеей, и он шел, шел, шел под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шел, шел, шел я. Ночь застыла, она отказалась двигаться, она забыла про нас, и до рассвета было еще сто лет. И никого, никого, кроме нас на дороге.

Идем, опять идем, опять идем, идем, ковыляем, идем, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь.

— Ну вот, — сказал Байсеитов облегченно, — вот и все! Сейчас мы верхом поедем!

Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова.

— Хлеба хочет, — сказал Байсеитов.

Я сказал:

— Нету хлеба.

Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял ее за холку левой рукой. Он попытался вскочить на нее, на костистую жалкую ее спину. Он бормотал:

— Счас... Счас я сяду. Потом тебя втащу. Прр, тпру...

Но сесть ему не удавалось, он слишком устал, ослаб и отощал, и слишком тяжелые были на нем сапоги, он только тщился бесполезно и корябал бока лошади сапогами. Лошадь терпела все это. Но Байсеитов не мог на нее взобраться. Тогда он взял ее за ноздри и повлек за собой, он брел так,

покуда не увидел того, что искал. Это был пенек. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошел на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лег животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и наконец перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю.

Я сказал:

— Она умирает.

Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал. Но у нее не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошел по дороге. Лошадь тихонько ржанула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошел за ним, и мы снова шли. Мы шли, шли, шли. . .



тром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраину города, увидев нас, замер от испуга и, когда мы попросили у него воды, вынес нам целое ведро.

Он глядел на нас и наконец сказал хриплым, натужливым голосом:

— Вы откуда вышли-то, ребята?

— Из Щеткина, — сказал Байсеитов.

— Вона, — сказал дед, — как же вы из Щеткина? Из Щеткина много народу пришло еще ночью.

Мы переглянулись с Байсеитовым.

Я сказал:

— Где же они выходили?

— Да вона, — дед показал рукой, — у вокзала, воона!

— А мы отсюда выходили, вот, здесь, за вашим домом, — сказал я.

— Вот что, — дед показал два зуба на голых деснах, — это, милые, старая дорога, по ней никто не ходит, это вы крюку дали, верстов двадцать, а то и двадцать пять!

И он засмеялся, добродушно так и сердечно.

И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народу, двигались машины, и крестьяне на телегах, и скотина, и весь этот живой поток вливался в широкую улицу, ведущую к вокзалу. Мы шли вдвоем, опираясь на суковатые палки, — на рассвете Байсеитов оснастил нас этими чудовищными полупосохами-полукостылями. Мы шли и чувствовали на себе внимательные взгляды встречных, идти было невыносимо трудно и больно, и хотя я знал, что скоро конец этому моему походу, но я все равно каждую минуту думал, что умру. Нас догнала телега, рядом с ней шла высокая костистая старуха в мужском пальто и шляпе, надетой поверх платка.

— Садись, — сказала старуха зычно. — Подвезу.

Мы еле всползли в телегу с Байсеитовым, и старуха подсаживала нас.

Она была громогласная и разговорчивая. Мы неудобно пристроились с самого края. Телега была завалена маленькими полосатыми, как арбузы, мандолинами и крутобедрыми гитарами. Наверху лежала гигантская балалайка. Весь этот странный товар позванивал и потренькивал от тесноты, и, когда Байсеитов неловко шевельнулся, жалобно зазвенела какая-то басовая струна.

— Полегче, полегче, — сказала старуха трубным своим голосом. — Смотри не раздави мне музыку, — она государственная. Оркестр народных инструментов колхоза «Восход»...

Она шевельнула вожжами, и мы заскрипели по улице. Старуха шагала рядом с нами. У нее были удивительно крупные шаги.

— Спасая музыку от фрица, — сказала старуха, — ему на ней не играть... Одна я в клубуто: все на войну ушли. И заведующий, значит, и библиотекарь, все побегли душить проклятого. Ну а я гляжу, этак он ненароком до нас дорвется, шалавый черт, — запрягла, да всю музыкуто и навалила валом. *Пережду где-нибудь, пока его отобьют, а потом в обрат. Не играть ему в нашу музыку, лешему, нет! Так, что ли, ребята?

— Вы правильно делаете, бабушка, — сказал я,

Старуха удовлетворенно хмыкнула. Лошадь двигалась медленно, улица была запружена народом, забита транспортом, глаза мои слипались, но я не спал, не мог спать — наверное, от голода. Я смотрел на дорогу, на людей, которых обгонял, и видел, как в толпе мелькнули Киселев, и, кажется, Ванька Фролов, и еще кто-то — не Хомяков ли? Не узнал, не успел догнать взглядом, а окликнуть просто не было сил. Только я видел многих наших и видел, что они были такие же слабые, как мы, если не слабее.

Байсеитов тоже не спал, он растирал свои набитые ноги, налитые кровью пятипудовые ноги.

Старуха остановила лошадь.

— Стой, трр! — сказала она. — Вам куда?

— На вокзал, — сказал я.

— Слезайте тогда — вот он, вокзал!

Перед нами была маленькая площадь. В центре стояло здание вокзала. Мы слезли с телеги. Не успел я встать на ноги, как меня резанула по пояснице резкая боль. Байсеитов вскрикнул тоже.

— Ослабли мы, — сказал он и смущенно улыбнулся.

Старуха все не отъезжала. Я спохватился.

— Спасибо, — сказал я.

И Байсеитов тоже сказал:

— Большое спасибо!

140 Старуха взмахнула кнутом, свистнула и, пробежав за телегой несколько шагов, вскочила по-мужицки на бочок. Телега скрылась. Перед нами был вокзал. За невысоким его палисадничком был

виден небольшой ладный паровоз, он пыхтел, выпуская плотные клубы дыма. Зеленые вагончики пристроились к нему длинной очередью. Было до них рукой подать. Но Байсеитов не двигался с места. Он показывал пальцем за угол.

— Смотри, — сказал Байсеитов странным прерывающимся голосом, — скорее смотри!

Я глянул туда, куда указывал Байсеитов, и чуть не закричал. Это была армия! Да, это шла наша армия! Был слышен ее мерный, твердый, уверенный шаг. Может быть, это была одна только рота, но мне показалось, что я вижу необозримую массу солдат, полки, дивизии, корпуса. И главное чудо было в том, что они шли нам навстречу. Они шли туда, откуда мы ушли. Они спешили, они торопились, они двигались на ускоренном марше, они бежали вперед на выручку, на помощь к своим, на бой кровавый, святой и правый.

Они шли, придерживая автоматы на груди, шагали упругими, здоровыми, молодыми ногами. Здесь не было плохо наваленных портянок, здесь все было пригнано удобно, точно, наилучшим образом, и земля хрустела под сапогами, как кочерыжка на молодых зубах, и для меня не было ничего слаще этого звука, любимого еще с детских лет, звука, с которым была неразрывно связана в моей душе память об отце, звука похода, неотвратимой поступи приближающейся Победы, идущей с развевающимися алыми знаменами впереди. Да, наверно, все было не так красиво на самом деле, и солдат было мало, и много грязи

налипло на их сапогах, но все равно наша Победа шла сейчас нам навстречу, это наша Победа собирала свои войска в подмосковных лесах, и это было наше светлое будущее, и я не смог сдержать спазмы, сжавшей мне горло...

Солдаты проходили мимо нас. Лица их были чисты и строги. Мне хотелось побежать с ними рядом и показать им дорогу на Щеткино и сказать на ходу каждому из них, чтобы они шли скорее, и дрались беспощадно, и спасли бы мою Дуню, перед которой я виноват без вины, и спасли бы всех наших, которые ждут их сейчас, призывают и кличут. Солдаты шли мимо нас, и я не успел побежать за ними, потому что вдруг понял, что не нужно мне делать этого, солдаты все знают сами. Они сделают свое дело во что бы то ни стало, у них такое же сердце, как мое, и бедное сельцо Щеткино для них Родина, и Дуня для них тоже Сестра и Любовь.

Байсеитов негромко крикнул:

— Бей фрица, ребята, бей!

И в колонне блеснули ответные горячие взгляды, и замыкающий солдат, проходя мимо, метнул на нас быстрые огневые свои глаза и негромко и страстно сказал Байсеитову:

— Будь спок!

Он улыбнулся краем рта и прошел вперед. И мы долго еще смотрели им вслед, как они идут быстро и согласно, и Байсеитов сказал по-восточному напевно:

— Сердце мое идет с ними рядом...

Мы двинулись. Паровоз все дымил.

На вагонных окнах белели чистенькие занавески. Это было странно. Просто невероятно.

— Чудно, — сказал Байсеитов, словно не понимая и не веря, что после прожитой ночи в мире могут существовать такие белые занавески...

— Скорее, — прокричал на ходу какой-то парень, — скорее, поезд отходит в десять!

Мы заторопились за ним, вдруг смертельно испугавшись, что опоздаем.

На площадке последнего вагона стояли две рослые девушки в шинелях, краснощекие грудастые девушки с наведенными бровями. Они протягивали нам руки, и мы, стыдясь, протягивали им свои, и девушки втащили нас в вагон. Когда поднимали Байсеитова, его ноги стучали о ступеньки как деревянные.

— Этот полегше будет, — сказали девушки про меня, и, когда втащили, одна шлепнула меня по спине: — Давай, хромой веселее!

Я вошел в вагон. Он был набит до отказа. На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, а вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.

Байсеитов нашел мне место в дальнем углу вагона, рядом с собой, и я опустился на пол. Было тепло и, несмотря на большое количество людей, очень тихо. Народу все прибывало. Потом больше уже никто не входил, — видно, грудастые проводницы уже никого не пускали; люди шли вперед, к голове состава, я слышал голоса за окнами. Вдруг дверь открылась, и к нам в вагон вошел слепой старик. Лысая его голова была обнажена, водянистые серые глаза смотрели строго. Старик все время что-то неслышно шептал, губы его непрерывно шевелились. Впереди него пробиралась крохотная девочка-поводырь. Она была в ладненьком, перевязанном веревочкой зипунчике, головка повязана платочком. В больших наморщенных синеватых своих руках старик держал каравай хлеба. Он прижимал его к груди. Войдя в вагон, старик остановился и строго сказал что-то шедшей за ним проводнице. Она скрылась и быстро вернулась, протянув старику длинный и острый нож. Тонким и осторожным жестом старик отрезал от буханки небольшую горбушечку. Он отдал его девочке, и та подошла к первому из нас и протянула ему хлеб. Человек взял, а девочка тотчас вернулась к старику. Он уже ждал ее с новым небольшим ломотком черного хлеба. Девочка взяла ломоток и отдала следующему. Так шли они по вагону, старик и девочка, и одеяли голодных людей, и мы принимали этот хлеб с благодарностью, и грудастые проводницы стояли и плакали.



22.

овершенно не помню, сколько я спал и сколько мы ехали, какие места проезжали, ничего не помню. Вскочил я, когда поезд стоял у перрона Киевского вокзала и половина наших людей уже покинула вагон. Над мной стоял Байсеитов, он трогал сапогом мои ноги.

— Вставай, — говорил Байсеитов, — вставай же. Москва!

Не передать того, что я почувствовал, когда услышал это слово. Не стоит об этом. Я так давно и так иступленно люблю свой город, что могу говорить об этом утомительно долго. Я жадно вбирал глазами Киевский вокзал, его грязный, невымытый стеклянный купол, нехитрые киоски вокруг и большой разлет площади. Мы стояли на ступеньках вокзального здания, на площади было пустынно, знакомые с детства камни лежали передо мной. Да, это была Москва, в этом было все дело, и сердце билось тяжело и сильно, как язык многопудового колокола.

Слева, с Бородинского моста, четыре девочки вели аэростат. Четыре ладные девочки с узенькими талийками вели под уздцы допотопное чудище. Девочки знали, как с ним обращаться, и чудище безропотно подчинялось им. Байсеитов не смотрел на девочек.

— Мне на Можайку, — сказал Байсеитов и переступил с ноги на ногу, — прощаться надо.

— Напиши адрес, — сказал я.

Мы пошли к перронной кассе и попросили ка-

рандаш и кусочек бумажки. Обменялись адресами.

Я сказал:

— Я написал тебе адрес, Байсеитов, не просто так. Байсеитов, слышишь, приходи ко мне. Мой ключ лежит всегда в почтовом ящике, и, если меня не будет дома, ты входи и обожди. Я тоже к тебе приду.

Мы протянули друг другу руки, и Байсеитов раскрыл глаза. Я увидел глаза Байсеитова. Оказывается, это были прекрасные глаза, не маленькие, не узкие, нет. Это были огромные, человеческие глаза, наполненные нежностью и грустью. Я долго смотрел в эти глаза. Мы обнялись. Он спустился по ступеням и быстро пошел, не оглядываясь. Он шел, а я смотрел ему вслед. Без него тоже никогда не будет совсем хорошо.

И я пошел домой. Быстро идти я не мог, да и не хотел. Коряга-костыль был теперь моим спутником. Он постукивал слева, и ноги саднили, но сердце оживало, — дело было в Москве, идти было легко.

Над городом висел странный и неприятный запах гари, черный дым вываливался из многих труб, людей было мало, изредка проносились машины, груженные узлами и разной рухлядью. На узлах сидели насупленные люди. Окна магазинов были завалены мешками. Мрачно было и строго. Москва была сжатая, подобранная, и мне показалось, что я вижу ее лицо, подлинное лицо, без гари и машин с узлами. Многое в ней изменилось за время моего отсутствия, в самом воздухе из-

менилось, и я чувствовал, что это неспроста, что еще серьезнее дело стало. Москва напоминала мне сейчас бойца, что стоит вот так же сумрачно и тихо, широко расставив ноги, и глядит исподлобья, прежде чем одним разом, одним ударом смыть с себя позорное оскорбление, скверное надругательство врага, которому если не отомстить, то и жить уж нельзя на свете. Я вспомнил строки и сказал вслух:

Изловчился он,
Приготовился...
И ударил!!!
Своего ненавистника!
Прямо в левый висок!
Со всего!!!
Плеча!!!!!!

Это было у Смоленского. А на Арбате мимо меня проскакал конный. Лошадь стлалась по центральной улице Москвы, всадник свистел плетью и жег коня, он гнал его как безумный, стоя в стременах и качая поводьями, чтобы еще ускорить этот дикий бег. Бледные искры взлетали изпод конских копыт. Да, наверняка дело серьезное.

В нашем дворе никого не было, и никто не видел, что я пришел домой бородатый, с костылем, и я долго стоял у своего почтового ящика, не в силах побороть волнение. Потом я наконец решился и пошарил в нем рукой. Он был пуст, в нем не было ни одного письма, и ключа от моей комнаты тоже не было. Я нашарил в полу-тме свою дверь и толкнул ее. Она была открыта. 147

Вот он, гвоздик на стене, где висел плащ девочки Лины.

Я шагнул в комнату. За столом, на стульях и на кровати сидели женщины. Много женщин. Старые и молодые, разные. Они повернули ко мне головы. Все молчали. Первой заговорила стриженная курчавая женщина, стоявшая у стены. Она сказала требовательно и сухо:

— Вам кого, товарищ?

Я сказал:

— Никого.

— Не понимаю вас, — сказала она и прищурилась.

Я сказал:

— Я пришел домой. Я здесь живу.

Женщина еще не понимала.

— Черт знает что! — воскликнула она. — Райсовет предоставил нам это помещение для занятий медсестер!..

— И прекрасно, — сказал я, — молодец райсовет.

— Но нас уверили, что помещение совершенно свободно!

— Я не помешаю вам, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички, меня действительно не было, но я пришел. Я из ополчения, — добавил я, — я спать хочу. Занимайтесь, сестрички.

148 Те из них, кто сидел на кровати, вскочили. Я прошел к кровати и снял сапоги. В комнате сразу запахло портянками. Я лег в чем был и повернулся к стене.

— Занимайтесь, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички,

23.

Было совсем темно. Я вскочил и начал лихорадочно одеваться, мне показалось, что это побудка и нужно растолкать Лешку, но рядом никого не было, рука моя ткнулась в подушку, соломы не было, воздух был чист, не слышно было храпа. Я вспомнил, что я дома. Медленно, ощупью пробрался и проверил затемнение. Оно было в полном порядке, можно зажигать свет. Я щелкнул выключателем. В комнате все было чисто прибрано, все было как всегда, только на стенах не было Валиных фотографий, на стенах висели прибитые большими гвоздями плакаты, объясняющие, как лучше переносить раненых, как накладывать повязки, делать уколы и так далее. На столе лежало несколько кусков хлеба, куски эти имели разные оттенки и даже разные цвета, еще там лежал небольшой кусок колбасы, конфетка «прозрачная» и кусок сахара. Я вспомнил женщин с курсов медсестер и понял, что это они оставили мне поесть, позаботились обо мне и собрали между собой кто что может. Я налил в огромную кастрюлю воды и поставил ее на керосинку. Пока вода грелась, я нашел чистую рубашку, трусы, носки и снял с полки красивый плотный кусок мыла. Потом я стоял у керосинки и водил пальцем в воде, пока она не согрелась.

Я налил немного воды в таз и вымыл голову. Нельзя сказать, что вода была грязная. Просто невероятно грязная, чудовищно грязная, — тогда, может быть, будет верно. Потом, в новой воде,

я мыл ноги, они тоже были ужасающе грязные. Но главное было в том, что там, где у меня были язвы, теперь была новая розовая кожа.

Потом я разделся весь донага и развел оставшуюся воду холодной и кое-как вымыл тело. Живот у меня так ввалился, что я удивился даже. А грязи на мне было столько, что, когда вода стекала в корыто, я смотрел на нее и только приговаривал сто раз подряд:

— Ну-ну! Ну и ну!

Я вымылся, начерно, чтобы потом не стыдно было идти в баню, убрался, подтер пол и надел чистое белье. Потом я встал у стола и поел оставленного мне медицинскими сестрами разнокалиберного и разноцветного хлеба: черного, серого и коричневого. Я съел сахар, конфету, маленький кусок колбасы и запивал все это холодной водой. Потом потушил свет и, отодвинув штору из черной бумаги, глянул в окно. На дворе было светло. Значит, был день и я проспал часов шестнадцать. Нужно было идти...

24. В

ойдя в театр, я почувствовал странную атмосферу безлюдья. Никто не встретил меня в служебном проходе, и я, опираясь на байсеитовский костыль, прошел через внутренний коридор, не встретив ни одного человека. В коридоре, загораживая проход, стоял ящик. На нем было написано: «аппаратура».

Он был перевязан толстыми веревками. Протиснувшись боком, я прошел дальше и увидел сквозь неплотно закрытую дверь следующей комнаты Зубкина. Он был похож на лягушку больше, чем когда-либо. Воровато озираясь, он вытащил какую-то папку и разорвал ее в клочки. Я смотрел на него. Я не понимал, что он делает, но во всей его повадке в эту минуту было что-то такое мерзкое, подлое и даже предательское, что у меня просто почки заболели от отвращения, и я ушел.

Пройдя налево, я услышал голоса в буфете.

«Вот и еда», — подумал я и толкнул дверь.

Валя шла через комнату на подламывающихся каблучках. Она шла, обходя голые мраморные столики, прямо к стойке. Там стоял человек. Он был в узких брюках; мне показалось, что это лосины, — так туго они облегли его. Валя шла, протягивая к нему руки. Он подал ей стакан. Валя взяла его и пошла за свой столик. Она меня не видела. Я шагнул к ней навстречу.

Я сказал:

— Почему ты не ответила на письмо?

Она взглянула на меня и выронила стакан. Он упал на каменный пол, и кисель разлился розовой лужицей.

А Валя смотрела на меня, и вдруг я увидел, что ее глаза до краев переполнены злостью. Она сказала негромко и внятно:

— ...Как вы изменились! Вы что, с того света, что ли? Я получила вашу записку, она патетична. Меня тошнит от патетики!

Она подошла ко мне близко, и никто не мог

слышать ее слов. Я ожидал чего угодно, но она всегда была полна неожиданностей. И тут она сказала мне, глядя в глаза очень откровенно:

— Письмо — это документ, братец. . .

И пошла мимо.

Значит, так: я получу твое письмо и потом буду показывать его каждому встречному и поперечному и буду похвалиться?

Сука.

Я спустился вниз, в кладовую, кладовщик сидел и барабанил пальцами по столу. Увидев меня, он сказал:

— Вернулся?

Я сказал:

— Да. Примите.

Я снял с себя ватник и, привалившись к стене, стянул сапоги. Старик долго и сокрушенно осматривал прожженный, истершийся ватник. Он поворачивал его и так и этак, поближе к свету, и все поглядывал неодобрительно на меня, качал головой и цокал. Сапоги мои окончательно расстроили его, и он сердито бросил мне мои ботинки. Я снял портянки и переобулся. Стало удивительно легко ногам. Просто казалось, что я босиком. Я поднялся наверх и вышел из театра.

152 Мне надо было попасть на Тверской бульвар, в райком. Я знал, что делать. Пусть попробуют мне отказать. Я не от себя прошу. Так мы сговорились с Лешкой Фомичовым. Он упал на траву, там, на этой проклятой дороге, он упал на траву и закрыл свои карие очи. Меня надо взять, это за меня просит моя единственная, моя ненагляд-

ная Дуня, она ждет, что я приду и возьму ее в жены. Сережа Любомиров просит за меня и те, кто остался позапрошлой ночью на той стороне, у нашего штаба, когда фриц перелетел и отрезал им путь к жизни. Они посылают меня к вам, товарищ Райком. Я остался цел, но это чудо и значит только то, что я должен доделать работу. Эту страшную работу войны. Я буду делать ее всегда, пока цел. А если я цел не останусь, то останется другой.

Вот так я и скажу в райкоме, пусть попробуют меня не послать, я черт знает до кого дойду, — не имеют права меня браковать!



еле протолкался через толпы людей. Повсюду стояли столы, кого-то записывали, выкликали, проверяли. Здесь были студенты, рабочие, служащие и даже школьники. Народ рвался на фронт, на врага, и здесь никто не собирался зажимать меня. Просто мне сказали, что я пришел не туда, и сочувственно и благожелательно посоветовали:

— Иди в МК. Раз ты в партизаны, иди туда. Колпачный переулочек.

— Возьмут? — грубо спросил я, нервы мои были напряжены.

— Иди сходи, — уклончиво сказал вихрастый инструктор.

Хотелось мне тогда иметь крылья, но пришлось все-таки идти пешком. Но я не такие куски хаживал, я отдохнул, я надеялся и поэтому дошел быстро и споро.

В коридоре толкался народ. Я увидел женщину в черном платке крест-накрест, туго-натуго облегавшем грудь. Она была похожа на ту, которая звала с плаката «Родина-мать зовет».

— Двух сынов убили и мужа, — сказал кто-то за ее спиной. Я с любовью смотрел на ее прекрасное лицо. К человеку, от которого все зависело, была очередь, входили по двое, а то и по трое. Я долго ждал. Когда меня вызвали, я вошел в просторную, плохо прибранную комнату, в ней тяжело пахло холодным табачным дымом и за столом неуютно сидел человек с густо заросшим зеленой бородой лицом. Он сидел на табуретке, она скрипела под ним, под его вертким телом. Он был в кожанке. Перед этим человеком стояла девочка в синем пальто. Из-под пальто торчала коричневая юбка, а из-под юбки красные лыжные штаны. Из-под огромной шапки-ушанки свисали две косички. Я видел ее худенькое личико, освещенное серыми глазами, огромными и чистыми. Девочка стояла перед человеком в кожанке и что-то говорила. В голосе ее была мольба. С решимостью и надеждой смотрела она на привыкшего к запаху холодного табачного дыма человека. Он же смотрел на нее из-за барьера своих бессонных ночей и моргал красными, воспаленными веками. Он все наклонялся вперед, табуретка скрипела, — видимо, человек хотел получше разглядеть

девочку. Выслушав ее, он болезненно поморщился и спросил:

— И что же ты собираешься делать в наших партизанских отрядах?

Девочка взмахнула худенькой рукой и шагнула к столу.

— Взрывать, — сказала она.

Человек в кожанке взглянул на нее, и вдруг что-то осветило его заросшее зеленой щетиной лицо. В глазах появилась нежность и боль. Но он тотчас сдержался, погасил свой свет изнутри и сказал, отвернувшись:

— Иди, девочка, домой...

Она отошла от него и, прислонившись к грязной стене, заплакала. Он скрипнул табуреткой и сказал мне:

— Следующий.

Я подошел к нему, стараясь не хромать, он поговорил со мной и сказал, что ладно, я вполне подойду, и что завтра меня, возможно, отправят к месту назначения, и чтоб я не уходил.

— А пока, — сказал он мне, черкнув что-то на бумажке, — а пока, Королев, можешь спуститься вниз в подвал, найдешь там товарища Андреева, предъявишь ему эту записку, и он тебе выдаст сапоги и ватник...

ДРАГУНСКИЙ

Виктор Юзефович

ОН УПАЛ НА ТРАВУ...

**М., «Советский писатель»,
1963, 156 стр.**

Редактор

М. А. Нечаева

Художник

Д. С. Громан

Худож. редактор

Е. И. Балашева

Техн. редактор

В. Г. Комм

Корректор

С. С. Потресова

**Сдано в набор 28/XII
1962 г. Подписано в печ-
ать 11/III 1963 г. А 01945.
Бумага 70×108¹/₃₂. Печ. л.
4 ⁷/₈ (6,67). Уч.-изд. л. 5,77.
Тираж 30 000. Зак. № 1915
Цена 23 к.**

**Издательство «Советский
писатель». Москва К-9,
Б. Гнездниковский пер., 10**

**Типография № 5 УЦБиПП
Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул.,
д. 1/3**



1950

L. H. H. H.

G